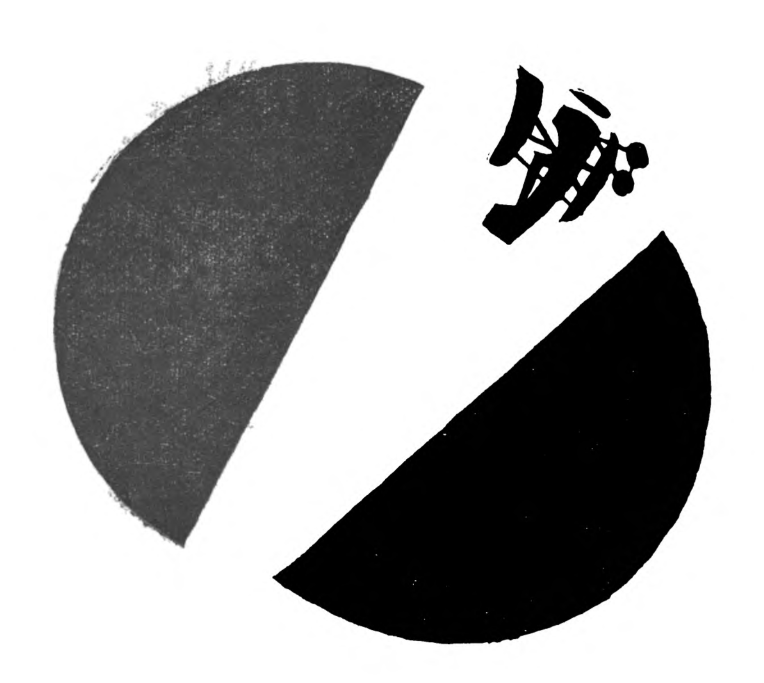

ПУТЬ ЭНТУЗИАСТА



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

ПУТЬ ЭНТУЗИАСТА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ КНИГА

ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1968



В. Каменский. Рисунок Вл. Маяковского. 1918. Оригинал — в Пермской художественной галерее. ▶



ХУДОЖНИК
В. ПЕТРОВ

Появление на свет

Первым весенним рейсом, среди дотаивающих плывущих льдин, из Перми в Нижний Новгород шел камский пароход. Командиром этого парохода был Гавриил Серебренников, мой дед со стороны матери.

В 17-й день апреля 1884 года я родился в пароходской каюте деда — на Каме, меж Пермью и Сарапулом.

Меня, новорожденного, мать, Евстолия Гаврииловна, увезла сейчас же домой — в центр Урала (40 верст от Теплой Горы) в поселок Боровское, где мой отец, Василий Филиппович, служил смотрителем золотых приисков.

Мать кончила пермскую гимназию, хорошо пела и рисовала.

Про отца говорили, что был энергичный, веселый и отличный охотник на медведей.

За час до смерти мать, больная, чахоточная, лежала на кровати и пела тюремную песню:

Отворите окно, отворите —
Мне недолго осталося жить...

Окно так и не открыли.

Когда мать умерла, мне было три с половиной года.

Помню: отец пришел с охоты, принес рябчиков, на стол положил, а сам сел, задумался, гладил меня и спрашивал:

— Где наша мама, где?

И потом долго ходил по комнатам, молчал и вдруг целовал меня и старшую сестру Маню.

Осенью Маню увезли в Пермь учиться.

Зимой, через год после смерти матери, от сердечной болезни скончался мой отец.

Помню только: много народу было дома, и мне сказали, что отец крепко спит и надо разбудить его к чаю.

Я долго будил его — хлестал красной рубашкой.

Не разбудил.

Дядя Костя, брат матери, на санях увез меня в Пермь.

Попал на воспитание в семью Трущовых. Это: тетка Александра, сестра матери, и ее муж, Григорий Семенович, который управлял крупным буксирным пароходством Любимова в Перми.

У Трущовых были дети.

Семья жила в особняке, на готовой квартире, около пристани, на берегу Камы, на окраинной заимке.

Это был двухэтажный деревянный дом, а вокруг него — огромное место — гора с елками, пихтами, тополями, огородом, конюшнями, сараями и дивным ключом, который бил из горы в огромный чан, стоящий в избушке.

Верхний этаж дома занимали Трущовы, внизу жили матросы, кучер, садовник Никитич и матерьяльный — приказчик.

На эту пристань, в дом к Трущовым, меня привезли на жизнь.

С золотых приисков уральских гор Качканара и Теплой, из лесов кедровых, медвежьих меня привезли на берег Камы, к пароходам.

Новая семья, новые люди.

Все смутно и все удивительно.

У тети Саши кто-то рождается еще и кто-то умирает.

Дядя Григорий, строгий, суровый, кашляющий, никогда не смеется, не играет с детьми, не велит нам шалить; матросы его боятся, он всем распоряжается, его страшно слушать.

В доме — няня, кухарка. С этими легче, проще, не боязно жить.

Уйдет дядя Григорий на службу, в свою товарную контору на пристань, и весь притихший дом оживает, радуется.

О, тогда мы, ребята, целый день болтаемся по двору, по горе, затеваем бесконечные игры.

Или возимся около ключевого чана, где в особом садке живут, плавают посаженные туда стерляди, язи, лещи, налимы.

Или торчим около матросов: слушаем разные чудесные рассказы о пароходской жизни.

Или торчим возле рыжего садовника Никитича, смотрим: он иконы делает, рамки из золотой бумаги, огурцы поливает, куриц кормит, табак нюхает.

Или вечером, перед сном, слушаем, как старая нянюшка про чертей, водяных, домовых, банных сказки рассказывает. Жутко и приятно.

Много и густо вокруг интересного: на берегу татары-пильщики дрова пилят и непонятные тягучие песни поют; на пристани грузчики ящики носят, на тачках товар катают; пароходы бегают, свистят, к пристани пристают; плоты лезут на берег; лодки снуют.

И такое всякое кругом происходит, что и понять не поймешь.

Быстрые, сияющие дни взлетели над жизнью, будто чайки над Камой.

Каждое утро появлялось новое солнце, и хотелось узнать, откуда их столько берется.

Няня говорила, что этим занимается бог и что вообще все делает именно он.

А я думал: ну и работы у бога — сплошной ужас.

Нет, я бы не согласился быть богом: это хуже, чем на буксирной пристани, где дни и ночи возятся люди с товарами.

Но все-таки превосходно, что бог делает яблоки и арбузы. Этой работой я был очень доволен.

И перед сном с радостью молился:

— Господи, пошли еще яблоков и арбузов и еще что-нибудь сладкое, хоть с полфунта.

Буксирная пристань

По ночам гулко гремели тяжелые цепи, бухали в Каму чугунные громадные якоря, густо шлепали пароходные колеса, шипел пар машинный.

И сквозь этот грузный шум, поверх происходящего, будто птицы полуночные, перекликались в рупоры водоливы с барж и капитан.

Проснешься в этот поздний час, распахнешь окно и стынешь сонными глазами в удивленье: по огням на мачтах видно — снизу пришел с пятью баржами буксирный любимовский пароход, и вот пристает караван к мосткам нашей товарной пристани.

Скорчившись под детским одеялом, думаешь: «Как это они там — в ночной воде — разбираются, устраивают столь важные дела? Совершенно непонятно».

И вот снится беспокойный сон: будто я сам — капитан и вот привел к нижней пристани множество баржей и все их так перепутал во тьме, что душа леденеет от ужаса и я, умирая на капитанском мостике, только шепчу: «Спасите, спасите».

От боли и страха вскочишь чуть свет, облегченно улыбнешься тревожному сну и сразу опять глаза в окно.

Очарованье!

Кама — в полном утреннем затуманенном спокойствии, и, как лебедь на озере, красуется перед окнами белый, гордый пароход, стоящий на якоре, а у пристани — пять большущих барж.

И кругом тишина нежная, ровно это — виденье. Даже слышно, как за Камой птички свистят, как рыба всплескивается на заре; а в тумане чернеются рыбачьи лодки.

Смотрю в одно место, знаю: там, у закамского берега, с лодки удит знаменитый рыбак Шатров — всеобщий любимец, ибо всем на изумленье выуживает крупную рыбу: язей, лещей, подустов, окуней.

Да он и сам слюнявыми губами походит на выуженного подуста.

Золотым апельсином солнце выкатилось над лесом.

И в этот час — точно в шесть утра — басисто-протяжно заревели гудки мотовилихинского пушечного завода, к ним разом присоединились чугунолитейные и судостроительные заводы Каменских, Любимова, фабрика Алафузова и всякие иные.

Пестрая музыка призывных, будящих гудков долго, настойчиво разливалась по проснувшейся Каме.

И вдруг развороченным муравейником зашевелилась наша буксирная пристань.

Проскрипели громадные железные двери пяти каменных лабазов.

Словно ветром, срывались брезенты с длинных рядов ящиков и бочек, лежащих под открытым небом.

С фырканьем, ржаньем потянулась к этим рядам бесконечная вереница ломовых лошадей с телегами, чтобы увезти клади в город.

Грузчики, в широких штанах, в лаптях, в длинных рубахах с расстегнутыми воротами, возили на тачках товар с баржей в лабазы или носили на спине, на «подушках».

Пристанские мостки стонали под тяжестью груза.

Изо дня в день, из ночи в ночь, как из года в год, буксирная любимовская пристань жила своей грузовой, товарной жизнью; и иной жизни не видел, не знал я.

Приходили пароходы с баржами и уходили.

Прибегали пароходы пассажирские, выгружаться или нагружаться, и убегали.

Грузчики-крючники носились по пристани с тачками, ломовые матерщинно ухали на лошадей со стопудовыми возами, суетились матросы, приказчики-матерьяльные, толпился народ около конторы, пригоняли арестантов на работу.

Здесь, на пристани, болтаясь целые дни, учился я стремительно познавать жизнь и труд людского муравейника.

До жгучей страстности полюбил эту гущу пристанских впечатлений; и мне попеременно хотелось быть то крючником, то матросом, то водоливом, то капитаном.

Только — не арестантом.

Ибо Кама дышала широкой вольностью и звала, сердешная, в дороги дальние, в края неведомые.

Туда и смотрели глаза из окна.

Аз, буки, веди, глаголь

Осенью меня, сироту семилетнего, тетя Саша повела в церковную школу при Слудской церкви.

Усадили за парту — эта штука очень понравилась устройством и тем, что от нее пахло свежей краской; и вообще удивил особенный школьный воздух.

Во время молебна оглядывал стены: всюду картины Ветхого и Нового завета, а на передней стене — царские портреты.

После молебна, когда приложились ко кресту и каждого окропили святой водой, священник, батюшка, рассказал, что надо начинать учиться, что надо молиться богу за царя, за отечество, за родителей и всех их очень слушать, повиноваться, бояться.

Подумал: «У меня же нет родителей».

Нам каждому батюшка выдал по сухой просфоре, мы поцеловали ему руки, и нас отпустили домой.

На следующий день нас выучили четырем буквам: аз, буки, веди, глаголь.

Сначала не понимал, почему веди да аз получается «ва», по-моему выходило «ведиаз».

И что это такое «ведиаз», не разумел.

В дальнейшем стал разбираться лучше, но веселили слова: зело, паки, мыслете, буки.

Мыслете да аз и еще мыслете да аз — получалось «мама».

Вот это штука.

Очень удивительно!

Тем более, что мы начали учиться по-славянски и первой нашей книгой был часослов.

Мы учили наизусть молитвы и потом их все пели, и учили закон божий, и писать, считать.

По воскресеньям и в праздники нас водили в церковь, мы соблюдали посты.

Играть, шалить в церковной ограде во время перемены не давали.

Шалунов, ротозеев в школе ставили в угол, лицом к стене, оставляли без обеда, то есть задерживали на два-три часа.

Дома ругали, теребили за уши, за волосы, если тетю Сашу вызывали в школу и говорили ей о моем нерадении к закону божию.

Церковная жизнь мне не нравилась.

Школа сразу опротивела.

Стало смертельно скучно учиться при церкви и петь молитвы.

Через два года меня определили в другую, городскую школу, что находилась на базаре.

Там было интереснее: больше ребят, больше книг, больше шалостей, а сторож Николай, унтер-офицер, обучал гимнастике.

Из школьных окон было хорошо видно, как торгуют на базаре, как ловят жуликов, как бегает городовой и свистит.

Но и здесь, в городской, ставили в угол, давали по морде, драли за уши, оставляли без обеда и часто пели

«Боже, царя храни» и еще «Спаси, господи, люди твоя».

Учителя — сплошь сердитые — того и гляди загрызут, как цепные собаки, за любую маленькую провинность или неуспешность.

В школу ходить страшно, душа замирает от испуга, когда урок начинается: вдруг да спросят такое, чего не знаешь.

А учителя обязательно спрашивали такое, чего не знаешь.

— Давай дневник, идиот, — рычит учитель и ставит жирную двойку с минусом.

Дома за эту двойку лупят два полных дня и полдня — за минус.

Или вдруг в школу торжественно приезжает архиерей, важно обходит (и все учителя за ним на цыпочках) классы и спрашивает нас по закону божию, а мы, несчастные, в общем ужасе.

Ибо ежели кое-что и знаешь, то тут, глядя на архиерея и всех учителей, забудешь даже, как тебя зовут, а не только какого-нибудь Навуходоносора.

Раз архиерей меня спросил:

— За что господь бог изгнал из рая Адама и Еву?

За что?

Я ответил, моргая:

— А за то, что Адам и Ева в раю без позволенья съели все яблоки.

Владыко улыбнулся, все захохотали.

А меня, грешного, потом чуть не вышибли коленом из школы.

Во всяком случае, натеребили уши, и до вечера я стоял на коленях в углу, проклиная рай, Адама и Еву, яблоки и преосвященного.

Дома, само собой, меня здорово выдрали.

Словом, на другой день я прекрасно знал, за что именно изгнали Адама и Еву из рая.

Снежной зимой

Жизнь делилась на две части: на лето и зиму.

Летом мы ждали зиму, а зимой — лето.

Я любил то и другое, и вообще все любил, что видел, слышал, ощущал, понимал и не понимал.

Первый пушистый снег, первые заморозки, застывающая у берегов Кама, затихающая пристань, короткие дни, длинные ночи, теплая одежда, оладьи перед школой, снежные тропинки, легкий тормошащий воздух — все наполняло радостным ожиданьем настоящей зимы.

А зимой, когда глубокий снег белым толстым одеялом укрывал землю и Каму, когда действительно приходила и владычествовала зима, мы, поспешно вернувшись из школ, катались на лыжах, коньках, санках, делали ледяные горы-катушки, поливали, мерзли, отогревались и снова бежали к сугробам до темноты, а потом дома лениво учили уроки.

Ждали рождества, потому что ждали денег на всяческие наши расходы, а приход давало только рождество.

Обычаем было ходить детям по домам родственников, знакомых и незнакомых, и славить Христа, то есть петь молитву «Христос рождается, славите», и за это получать серебро.

Славленых денег набиралось порядочно, так как много было родственников.

А потом — елки с подарками, гости-маскированные.

Эти маскированные производили особо яркое впечатление. Приезжали компании, разодетые в необыкновенные цветные костюмы, в колпаках, обязательно в масках с большими носами, и все отчаянно плясали, тряслись, хохотали.

Кто это были такие, неизвестно до жути, но забавно.

Являлись и такие маскированные, что после их ухода исчезали две-три шубы.

Ходила также по домам «шайка разбойников».

Это бродячий театрик.

Если пускали в дом «шайку разбойников», они, раскинув ручные декорации, разыгрывали с пеньем и плясками пьесу из жизни разбойников.

И за это брали два рубля, если с хозяйской выпивкой, а без выпивки — три рубля.

В крещенский сочельник девицы гадали.

Наша нянюшка в этом деле принимала горячее участие, помогая девицам выискивать суженых-ряженых.

Гаданье устраивалось всерьез, с волненьями загадочного трепета перед судьбой.

Все было окутано густой пеленой религии, обычаями старины, приметами, гаданьями, предсказаньями, наговорами, ворожбой, заклятьями, вещими снами.

Со страхом ощупывали мы свои кресты и глубоко залезали под одеяло с головой, укладываясь спать под стон метели.

А утром смотришь — опять солнце, снег, зимняя тишина, по Каме возы тянутся.

И опять забывали про все.

А дальше — масленица.

Блины, оладьи.

Нас увозили в разубранной кошевке кататься на лошади по проспекту, где бесконечной лентой двигался весь город, многие на парах и тройках с бубенцами.

На масленице я впервые прикоснулся к искусству.

Надо сказать, что перед этим я никогда не бывал в театре.

А тут около базара, среди громадной толпы, увидел вновь отстроенный большой дощатый балаган с парусиновой крышей и вывеской:

ЦИРК КАМБАРОВА

На балконе балагана стояли размалеванные артисты и среди них — великан с усами.

Клоун в колпаке, в полосатом балахоне, с крупчаточным лицом и бельмом кричал:

— Эй, публика почтенная, торопитесь покупать билеты: сейчас начинается небывалое представление, или чудеса и разгадка тайн черной магии. Со всех по гривеннику, а у кого рыжая борода — двадцать копеек.

Публика гоготала.

А возле балагана продавали горячий сбитень из жестяных самоваров, сахарные плюшки, пряники, оладьи, блины, пирожки.

Я выпил стакан сбитня с плюшкой, купил билет и вошел под парусиновую крышу.

Шарманка с барабаном, мальчик-акробат в трико, девочка на трапеции, гармонист, плясун, дрессированная собака, великан с гирями, петрушка-кукла, лубок со вставными лицами и сам клоун Камбаров — все это невиданное зрелище в блестках и позументах изумило, очаровало, поразило.

Долго не мог оторваться от балаганного дива — вот какие восхитительные дела живут на этом свете!

Жить очень замечательно: ведь впереди могут встретиться новые чудеса.

И потому:

— Давай еще стакан сбитня и плюшку за три копейки.

А дальше тянулся бесконечный великий пост под тихий однотонный благовест Слудской церкви.

Весь пост дома кормили постной пищей, и только на базаре можно было тихонько пожевать на пятак колбасы.

На четвертой неделе поста заставляли говеть, ходить постоянно в церковь и читать молитву «Господи, владыко живота моего».

Самое страшное — исповедоваться попу во грехах:

вдруг да узнает, что стащил у тетки с комода полтинник или в ученическом дневнике двойку переправил на четверку.

Причащаться — вот это удовольствие: дают запивать теплым красным вином и просфорку.

Но главное утешение — скоро пасха, весна, ледоход, пароходы, солнце, лето и не учиться.

О, на пасхе замечательно: заутреня, фейерверки, бенгальские огни, пальба, новые рубашки, штаны, куличи, сыр, под воротами качели, в бабки можно играть, кругом звон колокольный. Хочешь — лезь на колокольню.

Через Каму ходить нельзя: лед синий, водяной, вот-вот тронется.

Кругом ручьи, земля, птицы.

Буксирная пристань оттаяла и ждет грузчиков, товаров, пароходов, баржей и ждет нас, неизменных гостей.

Скоро, скоро!

Вода прибывает.

И вдруг неистовый крик:

— Кама тронулась! Смотрите!

Все бросаются к окнам: широкой полосой движется камский лед, перекашивая черные навозные дороги.

Познание города

Наша любимовская заимка стояла на окраине слудской земли.

Под лесной крутой горой, на берегу, у самой буксирной пристани, мы жили так, что собственно Кама с плотами, мостками, лодками, баржами, пароходами и являла собой коренное поле бытия.

Мы, разумеется, знали, что за горой, за ее высокой спиной, живет город Пермь с длинными улицами, рас-

крашенными домами, деревянными тротуарами, уличными фонарями с керосиновыми лампами (электричества еще не было); живет город Пермь с важными церквами, пожарными каланчами, магазинами, булочными, извозчиками, нарядно одетыми людьми при зонтиках и тросточках — и все в шляпах; но мы-то жили иной, водяной жизнью и лишь изредка, как в гости, заглядывали в город.

О городе всё знали: какой там архиерей, какой губернатор, какой полицеймейстер, какие свадьбы бывают, чьи похороны, чьи крестины, чьи именины, кого ограбили, кого зарезали, где случились пожары.

Город будоражил.

О, в этом городе всегда происходило такое, о чем у нас на кухне целые дни говорили да охали.

Самым замечательным событием мы, дети, считали, когда вдруг умирал кто-нибудь из многочисленных родственников.

Тогда нас водили в город на панихиды, на похороны.

Мы торжествовали: покойник в цветах, попы в ризах, комнаты полны дыма от ладана, все родственники в сборе, тесно, взрослые плачут, а нам весело.

И уж совершенно интересно на кладбище: человека зарывают в землю — подумать только!

И потом поминальный обед: очень вкусно, обильно кормили рыбными пирогами, индюшками, киселями, кутьей.

Приблизительно так же великолепно было на именинах, хотя нас брали туда лишь днем.

Мы тогда носились по тротуарам возле именинного дома и с изумленьем заглядывали в окна соседских квартир. Вот, мол, как поживают в городе: на окнах — занавески, цветы, на стенах — фотографии в рамках и бумажные веера.

Но что творилось на свадьбах — уму непостижимо.

Даже нас, ребят, поили красным кагором; мы обжирались всяким всячеством, и нас тошнило.

Расфранченные гости пировали, хохотали, пели, орали, плясали.

Кавалеры, шафера ухаживали вдрызг за барышнями, целовались в темных углах, верещали, как сороки.

Часто все кричали: «Горько! Горько!»

И жених целовал невесту.

Бабушки пускались вприсядку.

Били посуду.

Потные, осовелые, гогочущие, поющие вытворяли всякие штуки.

В том числе какой-нибудь шутник рассыпал из табакерки нюхательный табак — и все отчаянно чихали.

И снова орали: «Горько! Горько!»

Даже дьякон на кухне (чтоб не видел батюшка) плясал барыню с какой-нибудь толстой свахой.

Помню, на одной из свадеб я получил истинное, до жути веселое удовольствие.

С уральских золотых приисков в Пермь приехал сыграть свадьбу наш любимец дядя Костя, работавший на приисках старателем.

В свадебную ночь этот дядя Костя так назюзюкался, что решил зарезать свою нареченную, а когда это ему не позволили, он с ножом убежал на сеновал и обещал зарезаться сам.

За дядей Костей бегали, ловили, наконец поймали, отняли нож, и дядя Костя с горя уснул на сеновале один.

А утром опохмелялся, плакал, раскаивался в содеянном.

Мы, малыши, сияли в восторгах от дяди Кости, которого все ругали за дикость и пьянство.

Но милый дядя Костя был беспредельно щедр, широк, необуздан и очень любил меня.

Каждый приезд дядюшки с приисков являлся праздником. Каждый раз с ним происходили необычайные приключения: то он напьется до ужаса, то его обворуют, то он неизвестно куда скроется, то вдруг явится с подарками.

Первые стихи

Третий день пасхи.

В зале на праздничном столе—куличи, крашеные яйца, шоколадный сыр, разные вина, закуски, поросенок, гусь.

Мы пришли от обедни.

Все меня поздравляют и дарят конфеты: сегодня мои именины, мне исполнилось двенадцать лет.

Кругом праздник: на Каме — первые пароходы, в небе — горячее солнце, во дворе — качели, и всюду разливается колокольный звон.

Появились гости — братишки, сестренки.

Для всех мы приготовили сюрприз: в дровяном сарае устроили цирк (перед этим готовились две недели).

В цирке висела трапеция, стояли гири и разные предметы для игры.

Все пошли в цирк.

Представленье началось французской борьбой.

Алеша вызвал на борьбу одного из гостей.

Схватка сразу приняла бешеный характер и быстро кончилась тем, что оба борца наскочили на столб, ударились несколько раз головами и порвали рубахи.

Борцов едва растащили; у каждого из них засветились волдыри на лбу.

Вторым номером, в качестве акробата, появился я — на трапеции.

Проделав несколько трюков, я начал «крутить мель-

ницу» через голову, но так крутанул, что со всего размаху брякнулся головой об землю.

Публика заревела от ужаса.

Меня, несчастного именинника, долго обливали холодной водой, пока я вернулся с того света и подал признаки жизни.

Представленье кончилось.

К вечеру я отошел, оправился настолько, что предложил гостям дома выслушать несколько стихов собственного сочинения.

Приняв гордую позу, громко начал:

Я от чаю
Все скучаю,
А потому я чай не пью.

Взрослые домашние закричали:

— Ты врешь, врешь! Ты чай пьешь!

И не дали мне читать дальше.

Напрасно я силился объяснить, что это надо понимать особенно, что это — стихи.

Словом, сквозь слезы начал другое:

Весна открыла Каму,
А я открыл окно.
Зачем, зачем мне сиротою
Остаться суждено.
Пароходики, возьмите вы меня,
Увезите в неизвестные края.

Ребятам это очень понравилось; но взрослые заявили, что эти стихи я украл, наверно, у Пушкина.

Тогда я решил никогда больше не читать своих стихов дома и, кстати, отказался пить чай и не пил очень долго.

Но стихи — назло взрослым — писал часто, упорно, много и прятал их в тайное место, хранил аккуратно.

А читал еще больше, запоем читал, и заучивал большие поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Каждый двугривенный нес на базар и там на толчке покупал разные книжки и давал читать матросам, точно записывая, кому какую книжку дал.

Особенно нравилось читать про разбойников. До сих пор помнятся три любимые: «Яшка Смертенский, или Пермские леса», «Васька Балабурда», «Маркиз-вампир».

Но когда нашел на базаре «Стеньку Разина», с ума спятил от восхищения, задыхался от приливающих восторгов, во снах понизовую вольницу видел, и с той поры все наши детские игры сводились — подряд несколько лет — к тому, что ребята выбирали меня атаманом Стенькой и я со своей шайкой плавал на лодках, на бревнах по Каме. Мы лазили, бегали по крышам огромных лабазов, скрывались в ящиках, в бочках, рыли в горах пещеры, влезали на вершины елок, пихт, свистели в четыре пальца, стреляли из самодельных самострелов, налетали на пристань, таскали орехи, конфеты, рожки, гвозди и все это добро делили в своих норах поровну.

Вообще с игрой в Стеньку было много работы, а польза та, что мы набирались здоровья, ловкости, смелости, энергии, силы.

Я перестал писать плаксивые стихи о сиротской доле. Почуял иное.

Например:

Эй, разбойнички, соколики залетные,
Не пора ли нам на битву выступать,
Не пора ли за горами
Свои ночки коротать.
Уж мы выросли отпетыми,
Парусами разодетыми, —
Ничего тут не поделаешь,
Когда надо воевать.

Эти стихи я сочинил на сеновале после того, как купил четверть фунта пороха, высыпал его в проверченную в косогоре дыру и взорвал.

Вот это было громкое удовольствие!

Не знаю почему, но я по-настоящему, вдумчиво верил тому, о чем пелось в песнях.

Каждая песня, если она грустная, действовала на меня так проникающе, что все нутро наполнялось щемящими слезами.

Жадно прислушивался к прекрасным словам и моментально запоминал, как драгоценную правду о жизни, которой еще не знал, не изведал.

Однажды грузчики, сидя на ящиках во время ожиданья работы, пели:

Время, веди ты коня мне любимого,
Крепче держи под уздцы:
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.

Долгие месяцы эта песня была любимейшей, пока не услышал у тех же грузчиков:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..

Над этой песней я ревел — так замечательно ее пели грузчики.

И по совету грузчиков, матросов я добился того, что мне купили гармошку дома, и вот скоро заиграл, запел:

Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя.

Много выучил песен и распевал на дворе матросам под гармошку.

Много, жадно читал, много писал стихов и прятал, затаив неодолимое желание стать когда-нибудь поэтом.

В школе читал наизусть заданные стихи лучше всех и легко, отлично писал школьные сочиненья, но никому никогда не говорил, что сочиняю свои стихи, ибо боялся

насмешек, так как считал свои стихи плохими: ведь никто не учил меня и никто моей судьбой не интересовался.

Только и ждал: вот вырасту, стану умным, самостоятельным и тогда...

Ого! Тогда что-нибудь выйдет.

У дяди Вани

— Пойдемте к дяде Ване.

— Скорей, скорей!

Там, на Монастырской улице, недалеко от Слудской церкви, на солнечной стороне, его серенький домик.

Сразу можно узнать, где живет дядя Ваня Волков: за воротами, на улице, куча ребят и куча гусей, над домом кружится большая стая белых голубей — тут он и живет.

Войдешь в калитку и видишь: дядя Ваня стоит на крыше сеновала и долгим махалом гоняет голубей.

Он — рыжий, лесной, птичий, рыбацкий, общий, жизнерадостный, удивительный человек. Вот он какой!

Для всех дядя Ваня — просто дядя Ваня, а для меня настоящий: он был другом моего отца и женился на сестре моей матери.

Дядя Ваня будто Робинзон Крузо: его двор — остров, и тут — козы, собаки, птицы, хозяйство, и все дядю Ваню любят.

Всю свою жизнь он отдал ребятам, голубям, дворику и Пермской железной дороге.

Придешь к нему в гости и первым делом лезешь на крышу; там сидят голубятники, покуривают, поглядывают на голубей.

Слышатся голубиные названия: бусый, палевый, чернохвостый, мохноногий, белогрудый, чумазый, красноголовый.

Дядя Ваня — самый популярный в Перми голубятник, и он же охотник, рыболов.

А каких канареек он держит — чудо: поют, как в раю, на разные лады и переливы.

Гоняет ли дядя Ваня голубей, или сидит на голубятне, или охотится на рябчиков, или рыбачит на Каме — всюду он истинный художник, поэт, обвеянный беспредельной любовью к природе и к своему мастерству.

Он даже и чай пьет как-то особенно: много, аппетитно, с шаньгами, и всякие веселые случайности рассказывает, подхохатывая на скользких местах.

И всегда у него в домике гостили всякие приезжие гости и тоже с ребятами.

Народу всегда полным-полно.

Да еще постоянно семинаристы приходили: Миша Ветлугин, Ляпустин, Плотников, Славнин и другие, ухаживали за дочерью Ниной и воспитанницей Марусей, моей родной сестрой; обе они были гимназистками и жили в передней половине дома, где пели канарейки, стояли на подоконниках цветы и в простенке висели громадные старинные часы с остановившимся временем.

Из этой половины доносились звуки гитары и поющие голоса семинаристов, а иногда пылкое чтение «Евгения Онегина».

Словом, в домике дяди Вани кипела густая, многообразная жизнь, похожая на беспрерывный праздник.

Всех тянуло сюда, все шли очень просто, как в свой дом, и располагались как угодно; сам хозяин, собственно, был как бы ни при чем, ибо его занимали голуби, и, главное, дядя Ваня был выше всего окружающего, ибо всегда торчал на крыше и смотрел в небо на голубей.

Мое же дело у дяди Вани такое: упросить его поехать со мной и братишкой Алешей на лодке за Каму, на ночную рыбалку.

Ибо дома одних нас на ночевку не пускали.

О, какое это творилось будоражное счастье, когда чудесный дядя Ваня давал согласие!

Ведь он же заправский рыбак, учитель наш, а мы — робкие, но азартные ученики.

И вот, бывало, снарядим рыбачью лодку, уедем за Каму к вечеру, дядя Ваня найдет место, забьет ивовый заездок, опустит прикорм — пареный овес, смешанный с творогом и отрубями, — и на берег, чтобы к утренней заре рыба прикормилась.

И, уложив нас спать, приляжет сам; а чуть начнет светать, он засуетится, зашепчет, весь преобразится, заготовит удилища, и мы тихонько на лодке станем на заездок.

Начинается уженье.

Шепотом, движеньями, мимикой, глазами дядя Ваня рассказывает нам чарующую поэму рыбной ловли.

Заревая тишь, солнцевсход, аметистовые туманы над Камой, струистое пенье птиц в кустах, булькающие всплавы рыбы, водяные звуки, где-то со скрипом проплывающие плоты, гулкое хлопанье далеких пароходских колес, свистки, наша лодка и мы, как птенцы в гнезде, — и мы, рыбаки, среди этой сказки.

Кама блестит, будто маслом намазана.

И с нами дядя Ваня, в рыжей бороде которого золотится солнце, а в руках серебрится пойманная рыба.

Впрочем, и наши руки в серебряной чешуе от язенков и голавлей — это тем более замечательно, до головокружения.

Дядя Ваня неустанно учит, натаскивает, как ловчее ловить; и мы жадно слушаем, следим, учимся, горячимся.

И почти ревем, когда рыба срывается.

Но вот клев уменьшается, спадает, и мы едем восвояси.

А через неделю опять пристаем:

— Дядя Ваня, поедем на рыбалку в ночную.

И опять праздник.

Главным, незабываемым праздником для меня был день, когда дядя Ваня в первый раз взял меня на охоту за рябчиками.

Первая охота затмила, залила бурной радостью все вокруг — так бы и остаться в дивном лесу зачарованным.

О, с какой гордостью вернулся с охоты я, преисполненный сознанья, что, значит, вырос и теперь могу быть охотником, могу ходить в лес и стрелять, могу добывать пищу.

Кама

По-настоящему серьезно я возлюбил волшебницу Каму после того, когда тонул в ней шестой раз: едва из-под плотов вытащил меня за волосы рыбак.

Обсушиваясь у костра в качестве бывшего утопленника (чтобы об этом не узнали дома — ни-ни-ни, а то прощай рисковое рыбатство!), я призадумался и решил, что Кама — вещь непостижимо чудесная, таинственная, многорыбная, богатейшая великая река, которая не выносит шалостей, и, стало быть, надо глубоко уважать ее торжественное теченье.

Вот с этой поры всю силу любви отдал Каме и так горячо сдружился с ней, что дороже Камы ничего не было у меня на свете.

Как бурный приток, я втекал в ее воды, и это стало теченьем счастья.

Это наполнило берега моей жизни несказанным величием бодрости и слиянием с окружающим миром.

Да! Не знаю: быть может, я вырос настолько, что за спиной, как окрепший голубь, крылья почуял, но Кама вдруг вот воротами распахнулась, и тут понял я всю неисчерпаемую ее щедрость и призывающие объятья.

Это Кама — у ночного костра за чайником — рассказывала мне, начинающему смешному рыбаку, удивительную повесть о том, что Пушкин и Колумб, Гоголь и Эдиссон, Некрасов и Гарибальди в свое время были такими же, как я, мальчиками, но выросли, много учились, много знали, много работали, много боролись и вот сумели стать великими.

В те малые годы я достаточно знал об этих великих, с раскаленной жадностью упивался книгами, заучивал наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова (до всех и до всего доходил своей головой, так как никто ничему меня не учил и никто ни капли мной не занимался), читал с удовольствием вслух матросам стихи, смешил всех своей будоражной энергией, нелепыми фантазиями, дикими, будто ветер шальной, порывами в неизвестность.

И, главное, никогда не обижался, если меня совершенно не понимали и моих изобретений не ценили.

За все свое детство и юность я не помню ни единого случая, чтобы меня за что-либо, хотя бы нечаянно, похвалили.

Я же изо всех сил старался для всех сделать, выдумать что-нибудь приятное, удивляющее, но увы...

Сиротство обрекло на полное одиночество.

Всегда я стоял, как отодвинутый стул, в стороне.

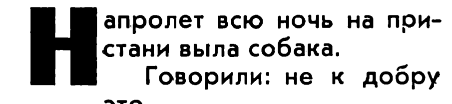
Однако это сиротское положение не мешало мне видеть с иного берега жизнь и быть затейником в веселых играх на широком дворе, на пристани, на раздольной Каме.

Ах, эта Кама!

Единственная, как солнце, любимая река, мою мать заменившая: она светила, грела, утешала, призывала, дарила, забавляла, катала, волновала, купала, учила.

И маленькому сыну своему обещала гуще прибавить крепких, здоровых, привольных дней, чтобы вырос он ядреным, толковым парнем.

Увидел корабли



Напролет всю ночь на пристани выла собака.

Говорили: не к добру это.

В эту ночь мы за Камой рыбачили.

Не везло: дул северный ветер, рыба не клевала.

Вернулись домой, слышим плач: больной дядя Гриша, мой воспитатель, умер.

Собрался народ, матросы, служащие пристани, все молча хлопочут; потом — священники, панихиды, ладан, слезы, похороны.

И как-то разом изменилась жизнь.

Со стороны одной — печаль: жалко дядю Гришу; а с другой — радость освобожденья.

Путь самостоятельности.

Юношеский возраст, ощущенье силы, выпирающая энергия, действующая воля, радужные переливы разума, большая начитанность — все это призывало отныне изменить жизнь так, как этого давно хотелось.

Кстати, хамские хозяева-миллионеры Любимовы за то, что дядя Гриша честно прослужил им слишком тридцать лет, не только оставили семью Трущовых без средств, но предложили освободить дом: выметайся и только.

Мне пришлось оставить дальнейшее ученье, и я поступил нужды ради на службу в главную бухгалтерию Пермской железной дороги.

Было нестерпимо больно расставаться с Камой, пристанью, пароходами, баржами, лодками, канатами, якорями, плотами, лабазами, товарами, горой, сеновалом, рыбами.

Никак не хотелось верить, что мы покидаем насиженный дом-гнездо, где бытовало прибрежное детство, где мы росли вместе с елками, пихтами, тополями, травой.

Где я тайно писал стихи, где мечтал у окна, взирая на камское раздолье, где с упоеньем читал последнее время Майн-Рида, Жюль Верна, Купера, Сервантеса, Пржевальского.

Где оставил друзей: матросов, грузчиков, водоливов, капитанов.

Где с горячей страстностью рыбачил.

Где ловил певчих птиц.

Где зимовал, летовал.

И вот все это — неисчислимое, незабываемое, неувядаемое, радостное и горестное — прощай!

Прощай навеки.

Пришла новая полоса жизни.

Мы переехали в город, мы теперь стали городскими, уличными, мелкоквартирными, обиженными, покрытыми пылью мостовых.

Некоторые сослуживцы стали меня звать Василием Васильевичем.

Я теперь стал личностью, почти взрослым человеком, к которому серьезно обращаются люди с бородами.

Мне отвели стол, бумаги, счеты; мне, как всем, 20-го платят жалованье.

Я стал ходить с бумагами по коридорам управления, чтобы брать нужные справки в разных отделах.

Словом, стал конторщиком, каких много.

Серую ученическую форму сменил на черную тужурку, старался казаться взрослым, серьезным.

В управлении дороги служили барышни, и я стал заглядываться на блондинок, знакомиться и краснеть при разговорах.

Из железнодорожной библиотеки брал книги, читал запоем.

Мечтал сделаться писателем.

Написал несколько рассказов из жизни маленьких, как я, сослуживцев.

В это время в Перми выходила газета «Пермский край», руководимая известным у нас социал-демократом В. Н. Трапезниковым, тогдашним фактическим редактором газеты.

И вот однажды с невероятным волнением и двумя рассказами я пришел в редакцию.

Меня встретили заботливо, рассказы не взяли, но предложили написать статью о каких-нибудь непорядках в учреждениях города.

Я обследовал большую народную столовую на базаре и написал.

Через день моя статья «В народной столовой» появилась в газете.

Я сиял краше солнца и без конца перечитывал свое произведенье в печатном виде.

Подписался: «Посетительский».

И дальше давал разоблачительные статьи, но, по совету редакции, никому о сотрудничестве в «Пермском крае» не говорил.

Газета считалась крамольной и меня могли выгнать со службы.

Мне очень нравилась моя роль таинственного шестнадцатилетнего журналиста.

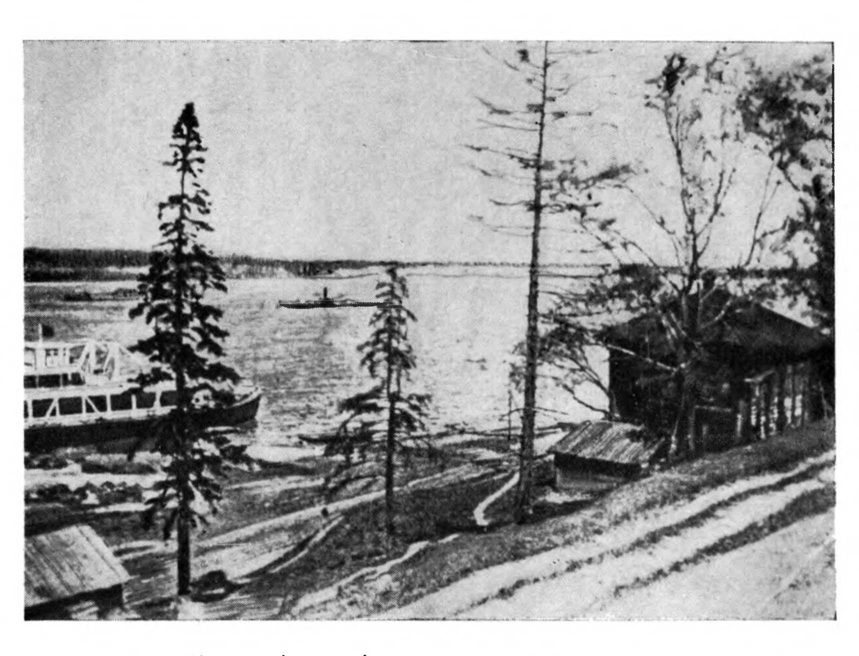
На лето многие железнодорожники переселились на дачу, в деревню Васильевку около Перми; и я переехал туда же.

Здесь, на даче, близко познакомился с известными тогда в Перми политическими деятелями: П. А. Матвеевым, Засулич, Каменевым, Бусыгиным, Федоровой; все они служили тоже на железной дороге.

Мы организовали одну семью-коммуну, устроили общую столовку, стали издавать рукописную газету, основали в Васильевке театр, в котором я стал играть боль-



Василий Филиппович и Евстолия Гаврииловна Каменские, родители поэта.



Пермь. Слудка (Заимка). Дом (на снимке — справа), где В. Каменский прожил детские годы.

шие роли, так как перед этим всю зиму ходил на драму в Перми и присмотрелся к этому искусству.

Здесь же в деревне, в семье марксистов Матвеевых, происходили постоянные политические собранья, где меня и просветили по этой части.

Собравшиеся превосходно пели революционные и студенческие песни.

Все жили дружно, весело, энергично, и все умели по-детски радоваться на полянах на берегу Чусовой, у костров в лесу.

И, надо сказать, все были довольно плохими служаками, а я так просто умирал с тоски на службе — вот до чего скучно было.

Только на часы и поглядывал: когда, наконец, можно будет бежать домой — ведь там ждут недочитанные книги, недописанные статьи, стихи, рассказы.

О, я упорно готовился быть писателем.

Да только чуял, что не хватает знаний, опыта, наблюдений и, главное, путешествий.

И мне повезло: дали месячный отпуск и дали бесплатный билет Пермь — Севастополь и обратно.

О счастье!

Никуда до сих пор не выезжавший, я поехал, покатил, нет — полетел в Крым, из окна вагона жадно разглядывая пеструю панораму бесконечной России.

С первой станции повел дневник, насыщая страницы энтузиазмом путешественника.

И когда в Севастополе увидел море с Нахимовской горы, даже не поверил, что это в самом деле бывает так.

И море, и пароходы, и пассажиры, и бухта, и весь кругом Севастополь свели меня с ума; и я целые дни бродил помешанным, затуманенным, взбудораженным, натыкаясь на людей и на фонарные столбы.

Мысль о возвращении на службу пахла каторгой, но я к сроку медленно влез в вагон.

Театр

Вернулся в Пермь переродившимся, обновленным, за малое познавшим многое.

Сослуживцы накинулись на меня:

— Ну, как море? Севастополь?

Я прищелкивал языком:

— Очччень удивительно и даже невероятно. Это вам не бухгалтерия с ассигновками, черт бы их разодрал.

В это время меня с повышением перевели из главной бухгалтерии в службу движения, но от этого продвиженья прибавилось работы, и я окончательно затосковал, рискуя вывернуть челюсти от зевоты и уныния.

Всех спрашивал:

— Почему меня не гонят со службы — ведь это же безобразие?

Но меня, кажется, любили за веселый нрав и держали, кажется, ради веселья, ибо ничем иным и никому не был полезен на службе.

Одно благо: острил иной раз так удачно, что кругом только бороды тряслись от хохота.

Всем заявил:

— Ежели мне дадут еще одно повышение, я брошусь со слудской колокольни прямо на голову начальнику дороги.

В эту студеную зиму я совершенно бешено увлекся драматическим театром В. И. Никулина.

Театр стоил этого: артистический состав труппы был необычайно талантлив, и вся Пермь неистовствовала от восхищенья.

Театр лишил меня спокойствия и сна.

Театр со всем многочисленным ансамблем влез в мою впечатлительную грудь и там давал сплошные сумбурные представленья.

Театр стал мной, а я — театром.

Не отдавая отчета в своих действиях, я однажды тайно явился за кулисы к режиссеру и предложил свои услуги бесплатно в качестве последнего актера.

Мудрый режиссер Рудин, заложив руки в брюки, ответил резонно:

— Ну что ж, раз бесплатно, — пожалуйста!

— Мерси. Когда?

— Приходите к началу завтра. Для первого выхода вы сыграете роль извозчика.

— Роль выигрышная?

— Да. Невыигрышные роли играют только плохие актеры, ххе-хе.

— Постараюсь понравиться.

Назавтра состоялся дебют.

Меня одели толстым извозчиком, загримировали, наклеили рыжую бороду, усы, брови и отослали кверху, на колосники, в мастерскую декоратора, пока не позовут на выход.

Я терпеливо ждал часа два-три, страшно вспотел, устал — и вдруг кругом стали тушить электричество. Я бросился в темноте вниз, путаясь в длинном извозчичьем одеянье.

Какой-то встречный театральный рабочий меня испугался:

— Фу, черт! Что ты тут делаешь?

Объяснились.

Оказалось: спектакль кончился, а про меня забыли.

Парикмахер по дороге, уходя домой, с остервенением сорвал с меня усы-бороду так, что неделю из глаз сыпались искры, как ночью из паровозной трубы.

Но я не унывал, ибо это было искусство и, значит, надо уметь страдать до конца.

Об этих мученьях читал и слышал.

Готовился и дальше к сладостным истязаньям во славу искусства: это ведь не служба на железной дороге.

Другие выходы были удачнее, а раз даже отличился: в роли рабочего я сыграл на гармошке так, что публика зашлепала в ладоши, режиссер пожал руку:

— Браво! Вы-таки зачерпнули успех.

Решил серьезно отдаться театру.

К изумленью сослуживцев отказался от службы, так как не мог связать искусство с железной дорогой.

По случаю увольнения мне не поднесли адреса «за усердие по службе», но товарищи искренне сожалели:

— Ей-богу, Вася, пропадешь с театром.

Но я принял бесповоротное решенье.

Увлекала давнишняя мысль таким способом увидеть разные города, узнать жизнь людей, испытать себя в скитаниях.

Под покровительством артиста Помпы-Лирского из труппы Никулина весной отправился в Москву на обычный актерский съезд при театральном бюро, предварительно вручив — взаймы без отдачи — все сбережения, полученные из пенсионной кассы, 350 рублей, в благодарные руки Помпы-Лирского.

В актерах

Как только прибыли в Москву, я уцепился за Помпу-Лирского, не отставал от него ни на шаг, вместе мы с ним и на квартире поселились.

Еще бы! Москва громаднейшая, густая, домов, улиц, народищу, магазинов полно — знай пошевеливайся, смотри в оба да не заблудись.

А как вечером на Тверскую вышли — ослепили электрические фонари, даже страшно стало после керосиновой Перми.

Страшно и празднично.

Что-то будет вообще?

В ушах звенел таинственный шепот бывших сослуживцев:

— Пропадешь, Вася.

Но я крепился.

Купил новый костюм кирпичного цвета, по случаю за три рубля сюртук, две сорочки, два галстука и штиблеты.

Приодевшись франтом, появился наконец в зале театрального бюро среди бритых лиц и пестрых дам в большущих с перьями шляпах.

Помпа-Лирский, высокий и худой как жердь, всюду носился, здоровался, целовался, хлопал всех по плечам — тут я окончательно поверил в его всемогущую силу.

И действительно, при его помощи я вступил членом в театральное бюро под псевдонимом Васильковский, чтобы вышло — Василий Васильевич Васильковский.

Помпа-Лирский щедро знакомил меня с актерами, актрисами.

Он показывал мне разных знаменитостей и обязательно добавлял:

— Но я играю не хуже.

Я верил, ибо верил всему на свете.

Жизнь, как говорится, улыбалась.

Помпа-Лирский устроил меня на зимний сезон к Леонову в Тамбов на вторые роли, а на лето предложил служить у него в товариществе на марках.

Я не понимал ясно, что это за марки такие, однако рыцарски согласился.

Мы, артисты, человек двадцать, выехали во главе с Помпой-Лирским в Новозыбков Черниговской губернии.

Имя актера Васильковского появилось на афишах — я возгордился.

Заказал визитные карточки, ходил в убийственном рыжем костюме или в сюртуке, гулял на публике.

Играл хорошие роли и был вроде управляющего: составлял афиши, программы.

Брал разрешенья у исправника.

Сначала дела шли гладко.

Летний театр в саду слегка наполнялся.

Актеры Цветков, Травин, Юматов, Гурко, Качурин, Помпа-Лирский, я — Васильковский — пользовались успехом.

А как пошли дожди, все провалилось.

Никаких марок не стало — делить нечего и есть-пить нечего.

Начались скандалы.

Целый день — солнце, а как вечер перед спектаклем — проливной дождь.

В один из таких дождливых вечеров перед собравшейся в небольшом количестве публикой мы, все артисты, уже загримированные, залезли в оркестр, схватили кому какие попались инструменты и под дирижерством Помпы-Лирского стали играть марш.

Воистину это было торжество какофонии — с горя да с досады.

Я бил сумасшедше в барабан.

Публика спрашивала:

— Ну, и что это значит?

Потом труппа разделилась на две части, и одна, верная Помпе-Лирскому, к которой принадлежал и я, решила ехать в Клинцы и Стародуб.

Перед отъездом мы, обе части, учинили драку из-за театрального имущества и стали лупить друг друга корневищами подсолнечников (с землей выдергивали в огородах) по башкам.

Помпа-Лирский вскочил на извозчика и, размахивая палкой, обратился к публике вокруг:

— Православные христиане!

Речь успеха не имела.

Помпа-Лирский забыл, что нас окружало еврейское население.

Всех посадили в участок в одну кутузку, на нары. Тут мы примирились.

В Клинцах и Стародубе дела поправились.

Следует отдать справедливость неутомимой энергии, таланту, изворотам и изобретательности Помпы-Лирского.

Он, увлеченный масленичными, народными, бенгальскими постановками знаменитого Лентовского, ставил какие-то невероятные спектакли с массой действующих лиц так, что каждый из нас играл по пяти ролей, превращаясь из нищего в барона, из барона в слугу, из слуги в банкира, из банкира в начальника полиции, и наоборот.

На афише так и печаталось: «В пьесе — 77 трансформаций, 21 выстрел, восемь убийств, четыре ограбленья, два пожара, локомотив, пароход, пляска, пенье, апофеоз».

Из пьес запомнились: «30 лет жизни страшного игрока», «Граф Монтекристо, или Кровавая башня», «Убийство на почте», «Притон четырех принцев».

Помпа-Лирский не скрывал от нас, что из трех пьес делал одну и при этом сочинял сам, подобно Шекспиру.

Играл он прекрасно, разнообразно, убедительно, и даже очень; я был в сплошном восторге от столь неслыханной фигуры.

С ним и голодать весело, ибо не хлебом единым жив человек.

На зимний сезон я уехал служить в антрепризу Леонова в Тамбов.

Из тамбовского театра меня однажды чуть не выгнали, но ограничились тем, что оштрафовали.

В то время началась война России с Японией, и театр поставил какую-то патриотическую пьесу из военной жизни.

Мне дали роль солдата, который, умирая на поле сраженья, должен в конце монолога открыть грудь и, указывая на медальон, сказать сестре милосердия:

— Посмотри-ка, сестрица.

И умереть на руках сестры.

Трагизм этих слов заключался в том, что в медальоне был портрет этой самой сестры, приходившейся невестой солдату.

Дело шло под занавес третьего акта.

На сцене — отчаянный бой.

Я тяжело ранен и умираю, и прекрасно говорю свой монолог смерти, но, когда дошло до последних слов, я громко крикнул в последний раз:

— Постерика, смотрица!

Публика и все актеры разразились хохотом.

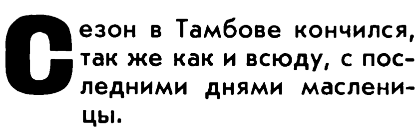
Занавес опустился на мою несчастную голову вместе с ругательствами режиссера и антрепренера.

Моя актерская карьера пошатнулась.

Но я особенно не горевал, так как никогда не собирался быть трагиком.

Мне это было не к лицу. Ясно?

Антон Чехов. Первая любовь



Сезон в Тамбове кончился, так же как и всюду, с последними днями масленицы.

Расейская актерия двинулась в Москву.

И вот снова биржа театрального бюро.

Снова переговоры, контракты, авансы, надежды на летние дела.

Опять актерские обеды в съестных лавках, в трактирах с органами и канарейками, а после получки аванса — в чистом ресторане с пальмами, с оркестром.

В ресторанах ставили магарыч.

Всюду на языках именитые антрепренеры: Медведев, Корш, Сабуров, Суворин, Струйский, Никулин, Арнольдов, Амираго, Валентинов, Леонов, Долин, Дарьялова, Филипповский, Собольщиков-Самарин.

Надо было краем уха уловить, кто куда набирает труппу.

И я уловил: Дарьялова взяла Севастополь.

Разволновался: так чертовски потянуло снова в Севастополь.

Чардынин помог, устроил.

К апрелю все мы, дарьяловские, съехались в Севастополь.

Весенний солнечный город, небесного покроя море, горы, корабли, бухта, базар с кофейнями, театр на приморском бульваре — все это снова захватило, влилось в душу шелестящей радостью.

Ждал чего-то необыкновенного.

Поразило: в нашей труппе оказался внук Гоголя, актер Яновский, который совершенно равнодушно относился к своему великому деду.

Я говорил ему:

— Подумайте, ведь ваш дедушка был Гоголем.

Яновский холодно отвечал:

— Ну так что ж?

Казалось, если б мне пришлось быть внуком Гоголя, я умер бы от счастья, а Яновский не умирал.

На несколько спектаклей наш театр поехал на пароходе в Ялту.

Я чуть не выпрыгнул с парохода от восторгов путешествия.

А тут, в Ялте, навалилось целое чудо: к нам на спектакль явился Антон Чехов.

В первый раз в жизни я увидел наконец-то настоя-

щего, живого, знаменитого писателя, да еще любимого Чехова.

Театр играл какую-то комедию.

Я исполнял маленькую роль гимназиста и перед каждым выходом растирал живот от волнения.

Впрочем, волновались все, так как всем хотелось понравиться Чехову.

Во время всего спектакля я неотступно смотрел из-за кулис в дырочку: Чехов в светлом пиджаке, со шляпой на коленях сидел в первом ряду.

А возле него — какой-то бритый человек (говорили, будто актер из Художественного театра), и этот бритый все время лез к Чехову в ухо и что-то шептал.

И видно было, что Чехову надоел этот бритый своей навязчивостью.

Думал я: и чего этот дурак пристает, шепчется, мешает, так бы и дал по загривку.

И до сих пор эта досада живет: бывают такие противные личности — не скоро их, окаянных, забудешь.

Ну, черт с ним, с бритым.

Важно другое: я видел, как смеялся Чехов, хлопал в ладоши и платком вытирал глаза под пенсне.

Скоро мы вернулись в Севастополь.

Дела пошли скверно.

Однажды среди многочисленной публики в ложе гимназисток я заметил одну такую неземную, что сразу — никогда не знавший любви — нестерпимо влюбился.

С этого вечера я ждал ее в театр, ходил по улицам, мечтая встретить, бродил около гимназии, писал стихи, страдал, не спал ночей.

И если встречал и видел — лишался ума от сердечного томления первой любви.

Узнал, что зовут ее Наташа Гольденберг.

Узнал, где она живет.

И дом ее чудился дворцом сокровищ.

При встречах Наташа так ослепительно улыбалась, что ноги мои подкашивались и голова заполнялась пьяным туманом.

Но познакомиться не смел, о нет, и только таял, как снег весной.

И тогда начал писать большую повесть о Наташе, о любви первоцветной, тайной, невысказанной, неясной, но покоряющей.

Любовь затмила и театр, и море, и весь мир.

Даже начавшийся вследствие дурных дел в театре голод был незаметен: из-за любви я давно потерял аппетит, вполне насыщаясь неизведанными чувствами и повестью о любимой Наташе.

Труппа расползлась, разъехалась кто куда, а я остался страдать в Севастополе, бёз копейки.

Но с богатым от любви сердцем.

Однако немедленный заработок стал необходимостью.

Сидя на камнях у моря, влюбленный, голодный, одинокий, в лепете приливающих волн опять услышал голос пермских железнодорожников:

— Пропадешь, Вася!

Пропаду?

Ого! Подождите!

Разве решенье строить жизнь теперь не стало тверже, острее?

Стало. Чую.

Бросился в гавань наниматься грузчиком, носильщиком, рабочим.

Кинулся в торговое пароходство проситься в матросы.

Сбегал в Балаклаву к рыбакам: не возьмут ли в подручные?

Ничего не вышло.

В книжном магазине приклеил объявление: приезжий репетитор ищет уроков.

В музыкальном магазине вывесил записку: учу играть на русской гармонике.

Вышло.

Получил два урока по русскому языку.

И получил третий урок — учить сына капитана торгового пароходства играть на гармошке.

После актерской голодовки ожил, повеселел, поправился и даже прифрантился.

И так широко разошелся, что на четырех страницах писчей бумаги написал Наташе любовное неземное письмо, полное земных желаний познакомиться ближе.

Однако ничего Наташа не ответила и с испуга неделю не появлялась на улице.

Эту неделю я не спал: бродил по ночам около ее дома и горько раскаивался в своем письменном порыве.

Понял: разве актер Васильковский мог рассчитывать на знакомство с благородной девушкой?

О фантазер в рыжем пальто!

О влюбленный в испанской черной шляпе!

Неизвестный из оперы бытия!

Белобрысый юноша с Камы, кудрявый обитатель буксирной пристани, кому я нужен, черт возьми, когда любой мичман на приморском бульваре в тысячу раз ценнее меня, неведомого бродяги, в глазах высшего общества!

Все понял.

И перестал писать повесть о любви: не позволила гордость, ибо не считал себя хуже мичмана.

И теперь, когда встречал Наташу, горел от стыда, закусывал губы от обиды, держался дальше в тени тоски и все-таки любил.

Не ждал ответа, но любил.

Зря. Напрасно.

Из напрасности выручило неожиданное обстоятельство: капитан торгового парохода, сына которого учил

играть на гармонике, предложил вместе с его сыном — и с гармошкой — прокатиться на рейс в Турцию — в Трапезунд и Константинополь.

Я заревел от радости: вот как повезло!

Тяжкий груз безнадежной любви уплыл на корабле к босфорским берегам.

И когда оставили севастопольскую гавань, я с капитанского мостика долго смотрел в ту загадочную сторону, где жила недосягаемая, неприступная, как звезда, Наташа.

Прощай, любовь.

Жизнь ведет за руку к иным берегам, и я чувствую крепкое тепло этой руки.

Что желать лучшего?

Когда вошли в Босфорский пролив и потом остановились в Константинополе-Стамбуле, жизнь развернулась легендой: все сказки померкли перед действительностью — таким в утреннем блеске предстал Стамбул.

Гавань Золотой Рог с множеством пароходов разных флагов мира, сиянье полумесяцев неисчислимых мечетей, гул корабельной верфи, Мраморное море, пестрота громадных зданий, европейских и азиатских, знаменитая Ая-София, мечеть Солимана, султанские дворцы, яркоцветные базары, людское движенье, кровь турецких фесок, смесь иностранцев, роскошные магазины, ковры, шелк — вот что увидели мои восторженные глаза и услышали напряженные уши.

И опять музыка названий частей города:

Долма-Бахче, Бешикташ, Эйюб, Галата, Ильдиз-Киоск, Пера, Кадикиой, Серай.

И нравятся имена турчанок:

Рамзиэ, Чирибан, Саадэт.

Впрочем, все показалось чудом.

Даже настоящий турецкий кофе, прямо с углей медным ковшичком налитый в чашку.

Даже стамбульская брага — буза.

Даже выкрашенная борода нищего.

Право, так бы и остаться рисунком в общем ковре Константинополя.

Или просто затеряться в Золотом Роге матросом в мечтах о дальних плаваньях.

С этим обратился к нашему капитану, и он спокойно потрепал по плечу:

— Нет, милый юноша, лучше поедем домой. А быть матросом довольно трудно, и никакой поэзии в этом нет. Конечно, путешествовать по свету полезно и приятно, но при более счастливых обстоятельствах. Поверьте морскому волку.

Убаюканные зыбью и впечатлениями, мы вернулись в Севастополь.

О, каким сереньким, маленьким, тихоньким он показался!

И жалкой, нелепой показалась любовь к Наташе, но сердце при встречах вздрагивало, томило, жгло.

Обиженными, грустными глазами смотрел на Наташу и чувствовал, что это ей приносило боль печали.

В одной из базарных кофеен заметил долговязого беспокойного смешного юношу, который пил кофе и что-то писал, взглядывая на потолок.

Познакомились.

Это был Илюша Грицаев, служащий в портовой конторе, родом из Николаева.

Подружились.

Выяснилось: год тому назад Илюша убежал из Николаева от родителей; там у них бюро похоронных процессий, и надо было возиться с покойниками, помогать отцу — словом, жизнь скучная, и он утек.

А тут, в Севастополе, устроился в портовую контору; безнадежно, как я, влюбился, стал писать драму в четырех действиях и думать о прочитанных книгах.

Мы великолепно поняли друг друга, бродили по ночам, произносили стихи, вкушали дыни, виноград, говорили о возлюбленных, уходили в Балаклаву, в Георгиевский монастырь, к Байдарским воротам встречать восход солнца.

Щеголяли мечтаньями о будущем: Илюша готовился в драматурги, я — в поэты.

Однако к осени пришлось разлучиться: следствием моей переписки с антрепренерами было то, что я получил предложение от антрепренера Филипповского приехать в Кременчуг на зимний сезон.

И, главное, получил на дорогу аванс.

Сны в гробу. Мейерхольд

Кременчуг.

И вот он, гоголевский «Днепр при тихой погоде».

А в общем река небольшая, мелкая, неважнецкая река, и гоголевское восхваление вызывает улыбку: жаль, что Николай Васильевич не видел Камы.

Антрепренер Филипповский не в пример другим оказался превосходным человеком и пожелал, чтобы я начал сезон хорошей ролью.

Я постарался, и дело карьеры пошло: меня стали замечать.

Особенно хлопали гимназистки.

Жил у старых евреев и под постоянное пенье псалмов и моленье учил наизусть свои роли.

Спрашивал:

— Вам не мешаю?

Умный старик улыбался:

— Каждый делает свою голову.

Тут я призадумался.

Через каждые два-три дня я набивал себе голову разными неумными ролями из подозрительных пьес, и это занятие смущало.

Несмотря на возрастающие первые успехи, интересовала мысль: а не пора ли бросить театр?

Тем более, актеры пьянствовали, играли в карты, возились с бабами, рассказывали гнусные анекдоты.

Тяготила эта пустяковая жизнь.

Мафусаил был прав:

— Каждый делает свою голову.

О сомненьях, раздумьях писал Илюше Грицаеву, и он советовал бросить сцену.

Илюша теперь снова вернулся в Николаев, в родительский дом, и начал писать вторую драму.

Мой друг звал, призывал к себе в гости, чтобы вместе решить о жизни впереди.

По окончании кременчугского сезона, на первой неделе великого поста, я приехал в Николаев и прямо с вокзала — в бюро похоронных процессий.

Следует сказать, что до этой поры мне никогда не доводилось бывать в подобных учреждениях и первые часы находился как бы в замешательстве: кругом гробы всяких размеров и качества, железные венки, кресты, украшения, туфли для покойников.

Тут же и жила семья Грицаевых.

Меня прекрасно встретили жирным обедом, но непривычность обстановки отбила обычный аппетит.

Илюше хорошо: он тут родился и вырос, а у меня в памяти были только страшные рассказы нашей няни о гробах и покойниках.

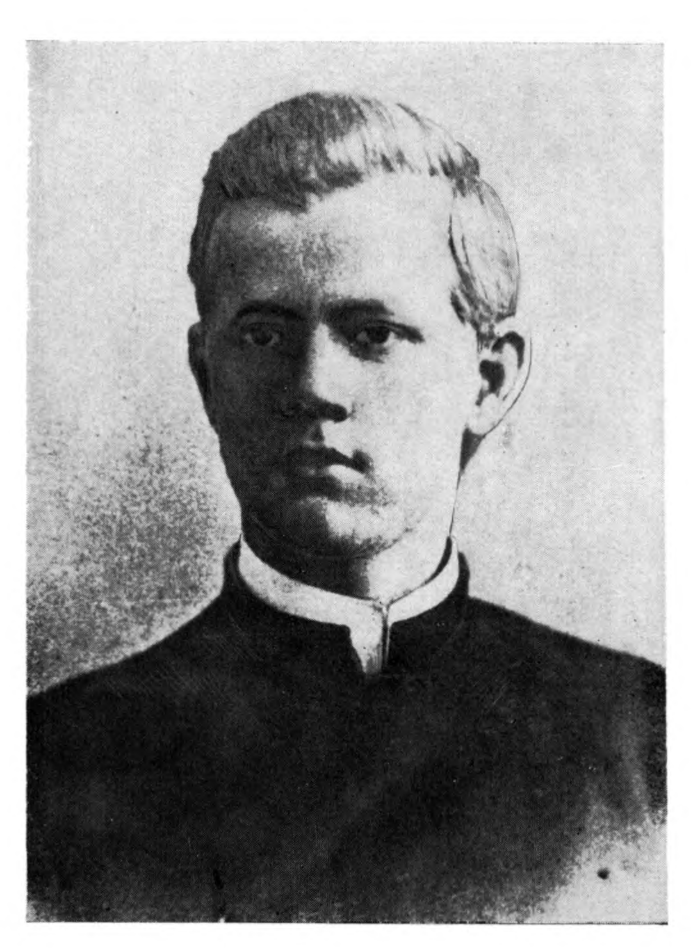
Да и моя театральная профессия, веселая и беспечная, и моя жизнерадостная, восторженная натура ничего общего с гробовой обстановкой не имели.

А тут...

Даже от борща попахивало усопшим телом.



В. Каменский в раннем детстве.



В. Каменский. 1900—1901.

Да еще Илюша шутил:

— Мы из покойников борщ варим. Ну и мясо, черт возьми, — пальцы обсасываем.

Я делал вид, что готов улыбаться остроумию, а сам все думал, где же мы будем спать, ибо приближалась ночь.

Илюша повел меня во флигель, где две комнаты были набиты до потолка гробами, а в третьей, возле стены, стояли один на другом дорогие гробы и на полу два открытых, из которых в одном лежало одеяло Илюши.

И этот металлический гроб, по словам приятеля, стоил девяносто рублей.

А другой, дубовый, с золотыми украшениями, был оценен в сто двадцать пять рублей и предназначался к моим услугам в качестве очень удобной кровати, с готовыми стружками для мягкости и с коленкоровой подушкой.

Илюша объяснил, что спать в гробу чрезвычайно уютно и, главное, нам одним легко и бесконтрольно будет ложиться спать когда угодно.

А это так важно, что возражать не пришлось, и вообще было бы неделикатно возражать мне, гостю, против заранее приготовленных удобств и обоснованных доводов.

Что делать — я принес свое одеяло и положил в дубовый гроб, вполне оценивая искренние заботы бесстрашного приятеля.

Потом мы побежали осматривать Николаев, гуляли в саду, шагали по Соборной.

Это отвлекло, но, будучи впечатлительным с детства, я воспринимал Николаев сквозь туманный сумбур похоронной обстановки.

В конце концов мы вернулись во флигель, в склад гробов, на ночлег.

Илюша разделся, потушил свечку, спокойно лег в гроб и через минуту захрапел.

Я тоже разделся, но не сразу, а постепенно, с раздумьем, и не сразу лег, а сначала посидел в своем дубовом гробу, умял стружки, пощупал подушку, осторожно осмотрелся, прислушался и тогда только улегся, плотно укрывшись одеялом.

И действительно, на момент я почувствовал некоторый уют благодаря боковым стенкам гроба и даже подумал, что покойникам, очевидно, это очень нравится, если лежать смирно на спине, вытянув ноги.

Но через момент, когда я повернулся на бок и захотел скорчить по привычке ноги, это мне не удалось.

Гроб требовал протянуть ноги.

Протянул, но никак не спалось.

Думал о разных странностях и в том числе о своей судьбе: никогда не слыхал, чтобы живые люди спали в гробах, а вот мне пришлось.

В голову лезли нянины рассказы о покойниках, которые подымались из гробов и стучали челюстями.

Эти воспоминания гнал, но о другом не думалось.

Прислушивался к воистину гробовой тишине.

И вдруг — шорох, неприятный шорох...

Выглянул: там, под потолком, в самом верхнем гробу под крышкой что-то шевелилось...

Я не считал себя трусом (трус живым в гроб не ляжет) или одержимым паническими нервами, чтобы зря разбудить спящего друга.

Решил просто: это чудится, блазнит.

Выглянул еще раз: крышка гроба приподнималась и опускалась.

Ясно... У меня зашевелились на голове волосы — так это было ясно.

Тогда я сел в гробу и заорал:

— Илюша! Илюша!

Илюша вскочил, зажег свечу и хотел куда-то бежать, полагая, что в доме пожар.

Указывая на гроб под потолком, я шептал:

— Там кто-то есть, шевелится.

Илюша не верил:

— Черт там шевелится. Спи.

Я упросил посмотреть для успокоенья.

Илюша притащил ручную лесенку и полез, но едва приоткрыл крышку гроба, крикнул:

— Будь ты проклята!

Из гроба выскочила большая крыса и скрылась в комнатах.

Это нас вполне успокоило, и мы уснули.

Мне снилось, что я живой лежу в могиле и стучу, безнадежно стучу, долго, слабо стучу в крышку, и никто меня не слышит.

Просыпался в поту с крупным сердцебиением и радовался, что жив.

Снова засыпал и страшное землетрясение видел во сне, а потом — всемирный потоп, как изображалось на картинах.

А утром все миновало, когда нас разбудили к чаю.

Илюша с хохотом рассказывал о крысе, и все смеялись:

— Вот окаянная, в восьмидесятирублевый гроб залезла. Да чтоб ей сдохнуть сегодня же заодно с каким-нибудь генералом — тогда бы мы этот гроб скачали за сотню.

Старик Грицаев басил:

— Люблю, когда навернется богатый покойничек. Заказывают гроб цинковый, рублей за девяносто, да самолучший катафалк берут с четверкой лошадей в белых попонах, да с полдюжины факельщиков, да еще мраморный памятник через нас покупают, ограду железную

ставят. Смотришь, полтыщи в кармане. Вот это любезное дело, ххе-хе.

Вообще у Грицаевых все разговоры велись вокруг покойников, гробов, катафалков, крестов, кладбищ, могил и будущих почивших в бозе.

Да, тут была такая своя похоронная жизнь, такие кладбищенские интересы по части наживы на скончавшихся, что я вполне понимал Илюшу, который удирал из дому и писал драму за драмой.

Понемногу я привыкал к этой оригинальной обстановке и, не желая даром хлебать борщ, стал помогать таскать гробы и снаряжать к выезду катафалки.

Старался...

Один раз меня послали ночью обмерить покойницу, чтобы подобрать подходящий гроб.

Когда стал прикидывать сантиметром, желтая покойница пошевелилась.

Я выскочил на улицу в холодном поту.

И потом долго ворочался в своем дубовом гробу и видел страшный сон: будто эта желтая покойница пришла обмерять меня, оскалив зубы.

Утром Илюша вовсю хохотал над моими снами, и я объяснил их няниными рассказами, внушенными мне с детства.

Но то, что хорошо объясняется днем, никак не объяснишь ночью.

Суть, разумеется, не в трусости, а в воспитании: нас с детства запугивали религией, наказаниями, сказками про всякую ночную чертовщину, про покойников да утопленников.

И теперь это отражалось в сновидениях и нередко наяву в ночные, глухие часы.

Да и непривычная обстановка делала свое беспокойное дело.

Я все это понимал отлично, даже свыкся со своим

гробом, но тем не менее желал себе лучшей участи: ведь не для бюро похоронных процессий решил изменить жизнь.

И скоро дождался.

В Николаев на пасху приехала драматическая труппа во главе с Вс. Э. Мейерхольдом.

Побежал в театр проситься на службу, чтобы, получив заработок, уехать к берегам новых дней, подальше от гробов.

Мейерхольд — такой раскудрявый, с большим носом и широкими жестами — сразу принял и тут же вручил небольшую роль студента, который должен был читать на вечеринке стихи.

Дома, в складе гробов, я моментально выучил свою роль наизусть и явился утром на репетицию без тетрадки.

Когда все репетировали с тетрадками под режиссерством Мейерхольда и очередь дошла до меня, Всеволод Эмильевич строго крикнул:

— Эй, Васильковский, где ваша тетрадь?

Я гордо ответил:

— Все выучил наизусть и в тетрадке не нуждаюсь.

Мейерхольд блеснул веселыми зубами:

— Вот это здорово! Молодец!

А когда я согласно роли с пафосом начал читать стихи, остановил суфлер и заявил, что читаю не те стихи.

Я заявил:

— Могу прочесть и те, но они глупы, бездарны и недостойны передового студента.

Для доказательства прочитал и те, по пьесе.

Мейерхольд согласился:

— Да, пакость. Но чьи же эти новые стихи?

Пришлось от смущенья наврать:

— Валерия Брюсова.

Сгоряча поверили.

А когда с успехом кончился спектакль, Мейерхольд мне сказал:

— Хорошо, но таких стихов Брюсова не помню.

Тут, краснея, сознался:

— Я сочинил сам.

Всеволод Эмильевич вдруг просиял, заинтересовался моей судьбой и, выслушав мое решение оставить сцену, энергично поддержал:

— Да, да, лучше оставить, лучше, интереснее заниматься литературой, лучше учиться, а провинциальный театр — болото, ерунда. Провинциальный театр отнимет все и ничего не даст.

За все время моих актерских скитаний Мейерхольд первый произвел крупное впечатление культурного, сведущего в делах искусства мастера с обаятельным темпераментом.

По скромности и по своему опыту я даже не предполагал, что режиссером может быть такой замечательный, работающий, как фонтан, человек.

Правда, его тогдашние постановки не отличались новизной, но все играли превосходно.

Театр грохотал от успеха.

И все-таки один раз произошло нечто необыкновенное.

Мейерхольд организовал вечер поэзии декадентов: Брюсова, Блока, Вяч. Иванова, Бальмонта, Сологуба, Кузмина, Андрея Белого.

Актеры читали стихи новых поэтов в черных одеяниях, среди черных сукон, при больших свечах, с аналоем посредине сцены.

Публике сие святотатство (намек на церковь!) не понравилось, а мистические стихи вызывали зевоту, сон, тоску. Никто ничего не понял. Но разговоры о затее остались.

Подходило лето, сезон доживал дни.

Однажды перед репетицией Мейерхольд обратился ко мне:

— У вас, Васильковский, кто-то умер?

— Никто.

— Да мы сами видели, как вы заходили в похоронное бюро.

Сквозь слезы стыда еле вымолвил:

— Это я в гости заходил.

Актеры хохотали:

— Ну и гости. Благодарим покорно. Да тут и мимо-то ходить страшно. Брось, Васильковский, этих гостей, пока они тебя не сцапали по-мертвецки.

С этой минуты я заходил домой, осторожно озираясь, не видят ли актеры.

Сезон кончился.

Я получил расчет сполна и с радостью навсегда распрощался с театром.

Актер Васильковский великолепно тихо в бозе почил, бесповоротно умер.

Театр и зрители от этой тяжелой утраты выиграли. Безусловно.

Теперь решил так: поеду домой, в Пермь, на Каму — там привольно бегают пароходы, там в густых лесах поют птицы, там осталось покинутое гнездо.

Туда и тянуло нестерпимо, чтобы на Каме собрать свои мысли, наблюдения, опыт скитаний, познанья людей и городов и там обдумать, как быть более полезным для живущих в бедности непроглядных будней.

Захотелось снова увидеть товарищей из «Пермского края», побывать опять в кружке Матвеевых, где жили интересами революционной подпольной работы.

Прежде мало знал жизнь, мало ценил общее дело борьбы, мало верил в свои силы — теперь, многое испытавший, перевидевший, выросший, прозревший, с неодолимым порывом рвался к иной были.

Девятьсот пятый

Неизменно жизнерадостный, всегда смеющийся, деятельный, очень опытный марксист-подпольщик П. А. Матвеев, только что освобожденный из тюрьмы, горячо встретил мое возвращение и немедленно помог устроиться таксировщиком в товарную контору железной дороги Нижнетагильского завода.

Уральский центр чугуна, медной руды, золота и платины, громаднейший старинный демидовский завод, лесные горы, шахты, рабочие, служащие, товарная контора, пыль, дым, трубы, домны, деревянные низкие дома — вот где я находился теперь, таксируя дубликаты накладных с шести часов утра до шести вечера с часовым перерывом на обед.

И я торжествовал.

Но не от каторжного труда ликовало сердце, а от двух причин.

Во-первых, в екатеринбургской газете «Урал» печатались на самом видном месте мои стихи, отточенные гражданским сознанием, а во-вторых, я вел активную подпольную работу среди рабочих завода и железнодорожных мастерских.

Устраивал литературные вечера, спектакли в заводском театре. Читал в кружках свои произведения.

Организовывал с рабочими, сослуживцами, учащимися лесные прогулки, рыбалки, охоту, чтобы там — на свободе — коллективно изучать политические брошюры, обсуждать вопросы работы, спорить о партийных программах социалистов разных лагерей.

Тогда, все почти сплошь беспартийные, мы стремились стать политиками.

Готовился быть оратором, учился говорить речи, диспутировать, писал статьи, и все это удавалось, ибо всегда обладал исключительной природной памятью.

Мне, например, ничего не стоило моментально запомнить цитаты из политических теоретиков и цифры по экономике.

Да и работа таксировщика требовала быстрых вычислений многозначных цифр.

Словом, своей памяти (очевидно, особая способность) начиная с детства я обязан очень многим.

А в пору, о которой сейчас пишу, — тем, что за два года изучил уйму политических книг, ибо исторический ход событий усиливался с каждым часом и надо было успеть приготовиться.

И мы были готовы.

Но население Нижнего Тагила пребывало в глухом, захолустном сне гоголевских времен.

Исправник, становой пристав Попов, жирные купцы, торговцы, священники играли главные роли хранителей безмятежного жития.

И уж исключительным ореолом поклонения был окружен пышный дом управителя заводов.

Здесь он был царь и бог, а все остальное — его владычество.

Когда на паре вороных, в шикарном экипаже, он проезжал из дому в управление или обратно, почти все снимали шапки; но он не отвечал, не замечал ничего и никого, кроме своей божественной важности.

Если управитель улыбался, огорчался, шутил, принимал гостей или был не в духе, все об этом шепотом передавали друг другу.

Только не совсем спокойно выглядели в эти дни жандармский ротмистр, прокурор, начальник станции Кузнецов, заподозренный, кстати, в тайном сыске по части явной крамолы на громадной станции.

В залах заводского клуба высшее тагильское общество — инженеры, врачи, адвокаты, администрация, судьи, становой пристав и двое военных играли в карты, а их

жены, дочери и свояченицы танцевали падеспань и краковяк, обмахиваясь веерами, кокетливо поправляя завитые букли.

И вдруг — трах!

Землетрясение, конец мира, страшный суд: вспыхнула первая российская революция.

Начальство Нижнего Тагила, во всяком случае, этого обстоятельства не ожидало.

Полнейшая растерянность высших тагильских сфер.

В доме управителя не зажигают огней, и неизвестно, у кого он находится в гостях и как его самочувствие; и, главное, он никому теперь не интересен, ибо каждый обыватель дрожит за свою овчину.

Исправник, становой пристав, околоточные, жандармский ротмистр, прокурор — где они, в чьих чуланах? Тоже неизвестно.

Вообще творилось невероятное: начальник станции скрылся, и теперь я был назначен распоряжаться последними поездами перед всеобщей забастовкой как избранный представитель громадного района многих станций и железнодорожных мастерских.

Я сидел на телеграфе, со всех концов России получая информации о ходе событий на фронте революции. И, захватив телеграммы, бежал на собрания делать доклады, говорить речи.

Рабочие наполнили улицы, пели марсельезу.

Начались выборы в Исполнительный забастовочный комитет.

Тайным голосованием всего громаднейшего района я получил большинство и стал председателем комитета.

Поезда остановились, за исключением тех, что возили продовольствие.

Дни и ночи происходили митинги, выносились резолюции об углублении революции.

Заводский театр стал центром сборищ.

Товарищи в шутку называли меня «президентом Урала»: вероятно, потому, что был избран председателем комитета и каждый раз был избираем в председатели на сплошь тогда шедших собраниях. И говорю я об этом не с гордостью, а с глубокой горечью: как, значит, мало было подготовленных, истинных руководителей великого движения, если я, совсем молодой и малознающий, получил такое прозвище.

И где?

В огромном рабочем округе.

Из пяти членов нашего комитета активно, по существу, работал я один, а четверо вроде как задумались — стали тихими и безучастными.

Я кричал:

— Этак мы провалим революцию! Что же получится? Полиция возьмет нас за уши, как озорных детей, и потащит в тюрьму!

Так и вышло.

Из Перми получил первые тревожные телеграммы: «Петербург спасовал, начался белый террор, Пермь усмиряют казаки».

Думал: вот тебе и бескровная революция, вот тебе и «царский манифест для известных мест», как острил в «Пулемете» Н. Шебуев.

А ночью меня, моего заместителя и секретаря захватила врасплох полиция и посадила в нижнетагильскую тюрьму.

Просидели три дня, а на четвертый к тюрьме привалила густая рабочая масса и, несмотря на охрану пятидесяти солдат, освободила нас.

Мы скрылись в доме одного машиниста.

Нас тщетно разыскивали.

Но когда по заводу расклеили объявление, что ловкие зачинщики сбежали и что теперь придется отвечать многим, мы открылись.

На тройках, под усиленным конвоем жандармов, нас увезли в далекую глухую николаевскую тюрьму Верхотурского уезда.

В одиночном заключении

В забытой богом и людьми снежной лесной глуши, в николаевской тюрьме побывало немало из ныне здравствующих и ушедших на вечный покой (в одиночке этой тюрьмы позже сидел Яков Свердлов).

Тюрьма славилась жестокостью.

Я это испытал сразу: меня, сонного, привезли в тюрьму в три часа ночи, и из-за того, что я не пожелал снять шапку перед начальником тюрьмы, старший надзиратель со всего маху ударил меня по голове шашкой в ножнах.

Шапка слетела, но я отказался ее подымать.

И пошел без шапки по тюремному двору, напевая «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою» — это была любимая песня.

Главный, громадный, корпус тюрьмы стоял в черном каменном сне посреди двора, а возле высокой стены чернелись оконца полуподвального помещения одиночек.

Спустившись по чугунным ступеням, мы вошли в длинный коридор, тускло освещенный керосиновыми лампами.

Большим ключом надзиратель открыл дверь одиночной камеры № 16 и зажег лампу.

Запахло керосином и карболкой: в углу стояла параша.

К стене привинчена койка, под высоким замерзшим оконцем — столик, табуретка.

А вся одиночка — два шага ширины и пять длины.

И в двери — глазок с пятак.

Камеру заперли на ключ. Ушли.

Когда лег спать, укрывшись своим овчинным тулупом, слышал: привели других товарищей и тоже заперли.

Тишина могильная, и только в коридоре тикали стенные часы да шаркали сапогами надзиратели.

Так началась новая жизнь.

С утра будят звонком рано, при огнях, дают кипяток и кусок ржаного хлеба, потом приходит арестант-уголовник и уносит парашу.

Раз в день, на шесть минут, выводят на дворик гулять одного.

На дворе много уголовников в серых арестантских одеждах, и все что-нибудь делают: убирают снег, пилят, носят дрова, таскают в котлах кипяток, капусту.

Поглядывают на меня, приветствуют, делают какие-то знаки, и я понимаю, что их очень бьют по головам, по зубам.

Кормили отвратительно.

Первые дни я почти не ел, а потом привык.

Долго не давали книг, но потом стали давать то жития святых, то глупейшие романы без начала и конца.

Одно удовольствие — надписи заключенных на полях страниц, вроде: «Вот сволочи — какую дрянь дают».

Или: «Книги наши — для параши».

Выдали, наконец, тетрадь, пронумерованную, с сургучной печатью.

Стал писать стихи и заниматься по-французски, так как с собой захватил французскую начальную книгу.

Разрешили писать письма на волю, и я стал получать ответы, в которых половина тщательно вычеркивалась.

Медленно ползли недели и месяцы.

У меня выросла большая рыжая борода.

По субботам в бане всегда находил записки, в которых сообщалось, что в России свирепый террор, тюрьмы

переполнены, всюду действуют кровавые карательные экспедиции.

Со скрежетом думал: а мы-то, бескровные дураки, церемонились, нянчились, собирались для резолюций, пели марсельезу и ни одного жандарма, ни даже станового пристава в тюрьму не посадили.

Ни единой баррикады не устроили.

Словом, ничего революционного не сделали, а ведь власть действительно была в наших руках.

О себе уж молчу, ибо был только рядовым и ждал приказаний из Перми...

Оказалось, что марсельеза без баррикад ровно ничего не стоит. Тут и сорвалось.

Долгие тюремные месяцы с нестерпимой досадой и грустью я раздумывал об этом «сорвалось», но разобраться не мог.

Между тем все одиночки переполнились.

Мне подбросили записку, что начался расстрел отдельных политических в тюрьмах.

Тогда пережил неприятный момент.

Знал, что перед казнью приходит поп и предлагает исповедаться смертнику.

Однажды, перед сном, тихо открылась дверь — ко мне вошел, с крестом и евангелием, тюремный поп:

— Вы христианин?

От неожиданности похолодело сердце, но я быстро оправился и с гордостью заявил:

— Мне ничего этого не надо.

В эту минуту явился начальник тюрьмы, шепнул попу:

— Не сюда, батюшка... ошибка...

Ушли.

Разумеется, это было проделано с целью «по пути» попугать меня.

Время шагало мрачно, медленно.

Оконце оттаяло. Пахло весной. Целые дни на дворе чирикали воробьи.

В одну из ночей услышал шум в верхнем этаже главного яруса — вскочил, смотрю: окна осветились, и там раздался смех.

Что такое?

Утром узнал, что из Перми привезли большую партию политических и разместили в общих камерах.

Сразу стало веселее, будто грачи прилетели.

Я поставил на стол табуретку, открыл оконце и, уцепившись за решетку, смотрел на пермских гостей, которые тоже уцепились за свои решетки.

Начались оживленные разговоры, которые вдруг прекратились: во дворе, меж окнами, появился начальник караула и крикнул:

— Не разговаривать! С окон убирайтесь! Иначе приказываю часовым стрелять!

Все скрылись.

Но в ответ пермские запели любимую «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою».

И эта песня оборвалась на средине: очевидно, запретили.

Наступило крутое затишье.

Много писал стихов, много думал о том, как выйду из тюрьмы и поеду в Петербург учиться.

Пермские ловко действовали через уголовных: на прогулках подкидывали мне письма, брошюры, газеты и журнал Шебуева «Пулемет».

Потом прилетели птицы, принесли тепло и песни о широкой вольности.

На дворе стало сухо, и по сочному воздуху чувствовалась первая зелень за высокой стеной.

Так бы и кинулся в лес, на поляны сосновые, весеннюю землю понюхал бы, поцеловал и пожевал, черт возьми.

Или посмотрел бы на камский ледоход — ведь там скоро побегут пароходы, повезут пассажиров.

И кажется удивительным, и не верится, что пассажиры поедут свободно, без тюремных надзирателей.

Как-то утром — едва встали — я услышал радостное густое пенье пермских «Эй, дубинушка, ухнем».

Ухнули.

И коллективный крик в окно:

— Да здравствует Первое мая! Ура!

— Ура! — орал я, снова уцепившись за решетку.

Пермские махали в окно красной рубахой.

— Поздравляем!

— Ура!

И вдруг выстрел часового.

Все стихло.

Праздник кончился.

А вечером, перед сном, как всегда, уголовные глухо, подземельно, безнадежно пели хором «Спаси, господи, люди твоя».

В средних числах мая внезапно по всей тюрьме политические объявили голодовку.

Мы требовали приезда прокурорских властей, чтобы расследовать дело о зверском избиении одного крестьянина-депутата тюремным начальством.

И заодно требовали освободить на поруки больных заключенных.

Трудно было голодать первый и особенно второй день, на третий легче.

Мы отказались даже от воды.

Я заболел: жар, озноб, тошнота, всего ломит.

Наехали из Перми власти.

Доктор меня обследовал при прокуроре и заявил тут же:

— Очень плохо...

Дал лекарства выпить.

Я отказался.

Тогда прокурор заявил, что все наши требования уважены сполна: сегодня же все больные будут освобождены, а за избиение заключенного начальник тюрьмы увольняется.

Поверил, выпил лекарство и две ложки портвейну.

Через час из окон крикнули:

— Наши требования удовлетворены! Голодовка, товарищи, кончилась! Поздравляем!

Сразу стало легче.

К вечеру всех больных освободили.

Меня спросили:

— Не желаете ли остаться до утра? Вы очень больны, и доктор советует переночевать.

— Ну нет, — улыбался я на всю камеру, — благодарю покорно. Вы только освободите, я на воле сразу исцелюсь.

Повели в контору, взяли несколько подписок о невыезде до суда из Нижнего Тагила.

Я еле держался на трясущихся ногах от голода, болезни и счастья; но, когда открыли тюремные ворота и глаза увидели солнце, деревья, зелень травы, дорогу, побежал сразу в лес и спрятался на случай, если бы вздумали вернуть.

И я действительно припал к земле, целовал землю, рвал зубами, жевал, хохотал и задыхался от пьяного майского воздуха.

Потом нанял крестьянскую подводу до станции Гороблагодатской, а там — с товарным поездом в Пермь.

И сейчас же на пароход, по Каме вниз.

И дальше, дальше.

Куда?

О, конечно в Севастополь! Ведь это там живет капитан торгового парохода, и он снова возьмет меня в Турцию.

Ах, как жадно хочется выпить кофе на константинопольском базаре.

Дивно! Будто сорвался с виселицы.

Да, да, так превосходно жить на воле.

В персидских чай-ханэ

Снова майское безмятежное море, ленивые под горячим солнцем чайки, играющие дельфины, высокий воздух, ялики с парусами.

Снова на камнях, у самой воды, сижу — набираюсь сил, вдыхаю здоровье горизонтов.

Еще слаб, но ремонт идет полным ходом, и я тут как пароход в доке.

А кругом — будто ничего не случилось: та же внешняя тишина; так же трамваи бегают; люди бродят по приморскому бульвару; громыхают в порту, дымят пароходы; разносчики продают с лотков персики.

Магазины торгуют.

Белеются кители морских офицеров.

А восстанье на «Потемкине»? Лейтенант Шмидт? Эскадра? Матросы? Революция?

Полное спокойствие, и от этой тишины — сверлящая боль досады, обиды: как это «они» могли взять верх, когда «их» жалкая кучка, а нас миллионы.

Все просто: марсельеза без баррикад ничего не стоит.

Прохожу мимо дома Наташи — там пусто, уехали совсем, живут другие.

И все стало чужое, одинокое, холодное.

Мой капитан с сыном в Одессе.

Но мне везет: случайно познакомился и сразу сдружился с бывшим лейтенантом Кусковым, другом лейтенанта Шмидта. Кусков — под надзором жандармерии, накануне ссылки в Сибирь.

Он посвятил меня во все севастопольские события, и он же устроил мне беспаспортную поездку в Константинополь, ибо я жил теперь по чужому паспорту.

И достал мне денег от подпольной флотской организации.

Новый капитан моего парохода — приятель Кускова и прежнего капитана, с которым ездили в Турцию.

Пароход шел прямо на Босфор.

Оказалось, что этот капитан прекрасно знает Персию и не менее — русскую поэзию.

Всю дорогу я читал стихи; он восхищался моим уменьем читать, сочинять и посоветовал воспеть Персию, куда обещал устроить при оказии.

И вот снова Константинополь!

Едем с капитаном на Галату, пьем душистый кофе, какого нигде больше нет в мире, читаем стихи, слушаем бродячих музыкантов, напеваем турецкие народные песни, осматриваем Стамбул, глотаем солнце и персики.

На главном базаре встретили группу чернокожих; они были одеты в растения, а у девочки на открытой груди — пустой кокосовый орех, и там живет змея.

На пятый день капитан познакомил меня с турецким торговцем, своим приятелем; и мы отправились в торговую поездку в Тегеран, за шелком и коврами.

Торговец Мохамед немного, как и я, знал по-французски; и нам было этого вполне достаточно, чтобы из бурдюка пить янтарное вино айюрташ и радоваться «тре жоли» вокруг, и кричать встречным караванам верблюдов с товарами: «Вив ля ви!»

Мохамед спрашивал, зачем еду в Тегеран, что мне там надо.

Я отвечал, отмахиваясь:

— Рьен. Абсолюмо.

Мохамед приходил в детский восторг от моей скромности, сдвигал феску на глаза от смеха и повторял:

— Жюст. Жюст. Яхши!

Мохамед говорил, что, раз я занимаюсь поэзией, мне ничего не надо кроме хорошей погоды.

И опять от смеха сдвигал феску на глаза.

Веселый Мохамед рассказывал, что его брат учится в Париже и посылает ему стихи, а он шлет деньги.

— И что из этого выйдет, неизвестно, — ухмылялся мой шелковый спутник.

Меж тем мы проезжали турецкие каменные плоскокрышие горные деревни.

Переехали наконец персидскую границу и скоро увидели громадное соленое озеро Урмию и вбегающие в него реки Джагатучай, Татау, Аджичай.

Здесь, на остановке, на берегу Аджичая, мы ели дикого кабана; и старый перс-охотник, с крашенными хной ногтями и бородой, принес продавать свежую тигровую шкуру за четыре золотых тумана.

Мохамед купил и подарил мне:

— Увези тигра в Россию и скажи народу, что Мохамед самый тре жоли охотник на тигров.

На другой день прибыли в Тавриз. Тут главное производство шелковых изделий, шалей.

Мохамед закупал товары, а я бродил по базару, сидел в кофейнях, чай-ханэ, слушал персидскую музыку и удивительные песни, в которых высокими вибрирующими голосами изливалась неизъяснимая боль далеких веков, будто это был жалобный, раздирающий душу плач.

И мне это очень нравилось, как, впрочем, и все, что видел, слушал, ел, пил.

Капитан был прав в восторгах от Персии.

Я жил среди тысячи и одной ночи; и отсюда николаевская тюрьма казалась кошмарным, убийственным сном.

И после, когда поехали за коврами в Тегеран, когда увидел столицу Персии, очарованью не было пределов.

Даже захотелось быть персом и петь в чай-ханэ стихи Гафиза, Шемс-Эддина или Фаррухи, Абагуль-сан-Али-ибн-Джулу.

Об этих знаменитых поэтах мне много говорил персидский художник Аббас-Ферюза из Хамадана, который, кстати, дивно их читал и переводил по-русски, так как учился в бакинской гимназии.

Странное дело: мне до такой степени нравился персидский язык, что, не изучая отдельных слов, я как-то вдруг стал понимать их смысловое значение и интуитивно точно угадывал слова.

И чувствовал: проживи я в Персии еще неделю-другую, заговорил бы.

И запел бы. Ого! Я и так многому научился, обладая песенным слухом и восточным вкусом.

Между прочим Аббас-Ферюза показал в Тегеране место, где был растерзан Грибоедов.

Я торопился в Петербург.

Дружески попрощавшись с Мохамедом в изумительном ковровом караван-сарае, я отправился в дилижансе по тегеранскому шоссе в Решт.

Оттуда каспийским пароходом — в Баку, где удивленные глаза застряли в черном лесу нефтяных вышек; и восхитил сам великолепный город, проводив в петербургский путь слегка утомленного путешественника.

Петербург

И вот на смену — Петербург.

Громадный, величественный, строгий, вытянутый прямыми улицами Петербург.

После пышных фруктовых персидских садов и ковровых караван-сараев, после плоских крыш, мечетей, ярко-

пестрой толпы, верблюдов, буйволов, осликов, чай-ханэ с пловом и песнями далеких веков, после сказочной тысячи и одной ночи — Петербург, полное отрезвление: стиль холодного ума, краски гранитного севера, дух департамента, царство дворцов и казарм, владычество церквей-соборов.

И посредине — широкий блеск Невского.

Но здесь университет, искусство, книги, писатели, а для меня это — все.

Поселился на Васильевском острове.

Три месяца, сплошь дни и ночи, готовился на аттестат зрелости, сдал в василеостровской гимназии, поступил на вновь открывшиеся высшие сельскохозяйственные курсы, которые основали профессора петербургского университета Адамов, Каракаш, Генкель, Рихтер, Шохор-Троцкий, Кравков.

Одновременно слушал лекции на естественном университета.

Студенты курсов выбрали старшиной.

А в девятой аудитории университета по вечерам политические собранья, доклады.

Началась студенческая жизнь.

Все жили впроголодь, но все энергично работали, учились, горели, волновались.

Я очень боялся, что вот-вот полиция разыщет меня по тагильскому делу и увезет на суд в Пермь, но этого не случилось; быть может, потому, что жил без прописки.

Зима сошла благополучно.

На все лето я уехал в Псковский уезд в экономию Карамышево вместе со всеми студентами на практические занятия по агрономии.

Там мы создали студенческую коммуну, много занимались: слушали лекции, работали с микроскопом по анатомии растений, группами ходили с профессорами по

лугам и лесам, собирая насекомых, червей, паразитов, изучая на месте флору и фауну.

С профессором лесного института Сукачевым мы ходили в дальние экскурсии на озера для общего исследования.

Сами вели огромное молочное хозяйство экономии, доили, наблюдали, практиковались.

Жизнь леса я изучал с такой любовью, что построил себе землянку в роще и жил, иногда ночуя на кронах сосен, где устроил себе колыбель, вспоминая жизнь предков, живших на деревьях.

Зимой я учился дальше.

Начал заниматься живописью.

И вовсе не потому, что мечтал стать Айвазовским, а просто, вроде маляра, заработка ради.

Дело в том, что для курсов требовались разные картины геологических пластов, почвенных разрезов, корней растений.

Все это я живописал очень удачно, с натуры, и получал по десятке за картину.

Этот заработок настолько меня обеспечил, что ходил по театрам на галерку, восторгался игрой В. Ф. Комиссаржевской, мариинской оперой, александринской драмой, народным домом, посещал выставки художников, музеи, Эрмитаж.

Покупал книги, зачитывался Гамсуном и ревел над «Викторией», ибо в ту пору влюбился в курсистку Марусю Косач и опять неудачно.

Маруся ревновала меня к своей сестре Вере и даже заявила:

— Ты желаешь переступить через мой труп, чтобы добиться взаимности Веры.

Я чуть с ума не сошел от столь неожиданного недоразумения, так как любил именно Марусю, а не Веру — будь она проклята, эта Вера.

До сих пор досадно за это недоразумение.

Однако моя сумасшедшая упрямая любовь сделала то, что все ночи напролет писал стихи, рассказы, посвящая ночные произведения возлюбленной.

И все-таки Маруся была убеждена, что я люблю ненавистную Веру.

Так и не выпутался из рокового тупика.

В эту зиму, 1907 года, большинство студентов благодаря Вербицкой и появившемуся «Санину» Арцыбашева было увлечено вопросами пола и «свободной любовью».

В первый раз в жизни я выступил перед массой студенчества с большой лекцией по этому поводу и громил мещанскую пошлость и похабщину вербицких-арцыбашевых, отвлекавших молодежь от великих идей освободительного движения, от построения новых форм современной культуры.

Ободренный бурным успехом первого выступления, перешел к систематическому разбору сегодняшнего положения русской литературы, доказывая, что и тут нет никаких новых, открывающих исканий, что все задернуто густой завесой мистики и отчаянного пессимизма леонидоандреевского мироощущения.

Однажды в вечерней «Биржевке» я прочитал объявление о том, что Н. Г. Шебуев (известный в то время журналист, автор-редактор бывшего «Пулемета») организует литературный альманах «Весна» для начинающих писателей и приглашает молодых авторов явиться к нему с рукописями.

И я решил попробовать.

Взял ночные любовные произведения, что посвятил Марусе, и понес с трепетом к прославленному Шебуеву, которого, кстати, очень хотел увидеть за слова «царский манифест для известных мест». Эти слова все знали, как и его «Пулемет», что прогремел на всю Россию и даже пролез в тюрьмы.

Пришел. Сердце колотится, как на экзамене.

Передо мной за письменным столом сидел рыжеватый, бритый, в золотом пенсне, очень симпатичный улыбающийся Шебуев.

Подумал: вот они какие бывают.

Шебуев пригласил сесть, был необычайно приветлив, весел, остроумен.

— Ну что ж, давайте, — сказал «пулеметчик», на минуту заглянув в мои рукописи, — давайте устроим братскую могилу. А?

Мне это легкое предложение понравилось, но я был застенчив и пробормотал:

— Спасибо за это самое... но как же так — ведь вы еще не читали мои произведения...

— Ого! — перебил редактор. — Мои глаза так натасканы, что раз взгляну — и все вижу. Главное — очень грамотно, а за талант вы будете отвечать сами, как за преступленье, ха-ха.

— Значит, принимаете?

Шебуев молча написал на моем первом листке: «Да». И подписался. И показал.

Я вспотел от счастья.

Разговорились о взглядах, о вкусах.

И о том рассказал я, какие лекции читаю студентам и каково мое мнение о состоянии современной литературы.

Через час разговоров Шебуев предложил мне место секретаря редакции «Весны» и заявил, что намерен издавать еженедельный журнал.

И предложил аванс.

Вот он какой, этот Шебуев!

Словом, через два часа я спускался от него по лестнице как пьяный.

Не знал, в какую сторону двинуться на улице от всего, что случилось.

Так я стал писателем и секретарем редакции «Весны».

И кругом действительно веяло сочной ароматичностью весны до головокружения.

Жизнь вила, накручивала толстый смоляной канат, и, как баржа за пароходом, я тянулся на этом канате за могучим шествием времени по реке бытия.

Куприн. Хлебников

Ну, тут произошло такое, что пером не опишешь.

Одним словом — пошел.

В двух словах — действовал энергично.

В трех — жизнь строил фундаментально.

Сидел за тем редакционным столом, за которым принял меня Шебуев.

С левой стороны лежала пачка альманаха «Весна».

С правой — груда вышедшего иллюстрированного еженедельного журнала «Весна», в конце коего значилось:

Издатель — Н. Г. Шебуев. Редактор — В. В. Каменский.

Шебуев близко дружил с многими писателями и широко с ними знакомил, наворачивая на мою голову, как чалму, обильные комплименты.

За короткое время познакомился с Леонидом Андреевым, Куприным, Сологубом, Александром Блоком, Михаилом Кузминым, Алексеем Ремизовым, Чуковским, Петром Пильским, Скитальцем, Боцяновским, Городецким.

У всех бывал, чтобы получить материал для журнала, и тут же, на квартирах, платил гонорар.

А раз гонорар — значит, меня принимали с искренним почтением и непринужденной веселостью.

Только один из известностей упорно, настойчиво сам

приходил и приезжал на извозчике за авансом — это критик Петр Пильский.

Больше всего на свете он любил авансы.

Частенько и в два часа ночи раздавался звонок.

Что случилось?

Приезжал извозчик из ресторана и вручал краткое письмо:

«Дайте 5 руб. Сочтемся.

П. Пильский»

Очень мне нравился Куприн.

Один раз Шебуев попросил меня поехать в Гатчину к Куприну — взять рассказ и заплатить сто рублей.

И было наказано: пока не получу рассказа, денег не давать.

Я поехал.

На гатчинском вокзале спрашиваю буфетчика:

— Где живет писатель Куприн?

Буфетчик указал на столик:

— Вот он тут сидит.

Александр Иванович сидел под градусом и, повернув ко мне тихое татарское лицо, предложил сесть:

— Прежде чем разговаривать, прошу выпить.

Я отказался.

Куприн улыбнулся:

— Но кудрявые все пьют. Я их знаю.

Тут я заметил, что Куприн очень похож на одного купца-татарина из Перми, торговавшего под вывеской: «Рахматуллин, он же Бикматуллин».

Знаменитый писатель выпил, закусил, прищурился на меня:

— Сколько?

— Сто рублей, — быстро ответил я.

— Не о том речь. Спрашиваю: сколько лет?

— Двадцать три.

— Превосходно. Все впереди. В «Весне» мне очень понравились ваши стихи «В кабаке».

Я просиял:

— Благодарю.

— Что тут благодарить, пустяки. Я это к случаю: не люблю декадентских, мистических стихов, а у вас этого нет. Декаденты сочиняют «фиолетовые руки». Противно. В руках — мускульная сила человека.

Мы поднялись из-за столика, и Куприн вдруг в упор:

— Дайте двадцать пять рублей. Должен буфетчику.

Помня шебуевский наказ, заволновался, не знал, что делать:

— А рассказ будет?

— Рассказа еще нет, но я напишу.

С грустью отдал двадцать пять рублей.

Пошли. На улице все почтительно раскланивались с Куприным.

Дома — такая тихая, одноэтажная квартирка — Куприн познакомил с женой и девочкой-воспитанницей.

Сели за вечерний чай в угловой комнате с большим старинным диваном.

Подумал: вот как живет Куприн — очень тихо, и тихий он человек, медленный, коренастый, с бычьей шеей и сильными руками.

Дома он оказался трезвым и пил квас.

А когда узнал, что я был актером, ожил, развеселился:

— Я ведь тоже был в актерах.

И давай рассказывать разные приключения, схожие с моими по части голодовок.

Превосходно он рисовал типы провинциальных актеров в клетчатых костюмах.

Особенно смешно было слушать о трагиках, любовниках.

В свою очередь я рассказал о Помпе-Лирском и о том, как дошел до дубового гроба.

Прохохотали до ночи, а я все подумывал: когда же он станет писать рассказ?

Наконец меня уложили на диван спать.

А утром жена Куприна передала мне написанный за ночь рассказ.

Расплатился. Уехал. Куприн спал.

«Весна» шла отлично.

Журнал привлекал новых, начинающих писателей, к которым Шебуев относился с особым, дружеским вниманием.

Мы оба верили, что найдем талантливых людей из молодежи.

И нашли.

В первый раз в «Весне» начали печататься Хлебников, Н. Асеев, Игорь Северянин, Шкловский, Придворов (Демьян Бедный), Арк. Бухов, Пимен Карпов, Николай Карпов, Л. Рейснер, М. Пришвин.

И многие из теперь известных.

М. Пришвин принес первый рассказ «Белое».

Е. Придворов (Демьян Бедный) был тогда студентом — этакий здоровый остроумный парень. Он напечатал стихи о смертной казни.

Е. Придворов жил на Невском, в квартире портного, занимался репетиторством.

Мы с ним хорошо познакомились, бродили по улицам, по гостям.

Тогда же я начал печатать рассказы в «Вечерних новостях» и театральные рецензии в «Обозрении театров».

Но моя главная работа происходила дома — я весь горел в исканиях: изобретал новую форму писательской техники и поэзии, мастерил новые образы, реформировал литературный склад речи, занимался словотворчеством, неологизмами.

И был одинок в этой области, пока не встретил великолепного спутника.

Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого человека, кроме меня, застрявшего в рукописях.

Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращенья Шебуева, чтобы бежать в театр.

Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.

Я вышел на площадку — шаги исчезли.

Снова взялся за работу.

И опять шаги.

Вышел — опять исчезли.

Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.

Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:

— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.

Студент произнес что-то невнятное.

Я повторил приглашение:

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.

Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошел в прихожую.

— Хотите раздеться?

Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.

— Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.

Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-

детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.

Так мы с ним молча смотрели друг на друга и улыбались.

Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.

— Вы что-нибудь принесли?

Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил ее винтом и подал мне, как свечку:

— Вот тут что-то... вообще...

И больше ни слова.

Я расправил тетрадь: на первой странице, будто написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисленья, цифры; на второй — вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей — написано крупно «Мучоба во взорах», и это зачеркнуто, и написано по-другому: «Искушенье грешника».

Сразу мои глаза напали на густоту новых словообразований и исключительную оригинальность прозаической формы рассказа «Искушенье грешника».

Тогда я достал из стола свою тетрадь и показал студенту.

Там на первой странице столбиком стояли слова:

Вода небится.
Небо водится.
Ручеек-журчеек.
Солнце солнится.
Цветины.
Ветвины.
Шелесточки-листочки.
Встречаль.
Звучаль.
Укачаль.
Чурлю-журль, чурлю-журль.
Веснеяночка-птичка:
Циа-цинц,
Ций-цивий.

И дальше — начало «Осени»:

Затянуло небо парусиной.
Пахнет мокрой псиной.
Одинокая, как я, —
Сука старая моя.
Сука-скука.

И еще отрывок:

Ушкуйничья кровь горяча:
Кистенем да печеночным ножиком
Он с крутого плеча
Расхлабыстывал.
И валялся боярин — из кожи ком —
У коня под копытом, у быстрого.

Студент просмотрел эту мою черновую работу, снова взлохматил волосы, улыбнулся:

— Надо это печатать, а не... вообще...

— Ну, пока что, — перебил я посетителя, — мы напечатаем ваше «Искушенье грешника». Убежден: Шебуеву это понравится.

Студент быстро привскочил, обрадовался, потер лоб:

— Очень приятно. Не ожидал... вообще...

— Ваш рассказ не подписан. Пожалуйста, подпишите.

И студент подписался:

«В. Хлебников».

Пришел Шебуев, я познакомил его с Хлебниковым, показал «Искушенье грешника».

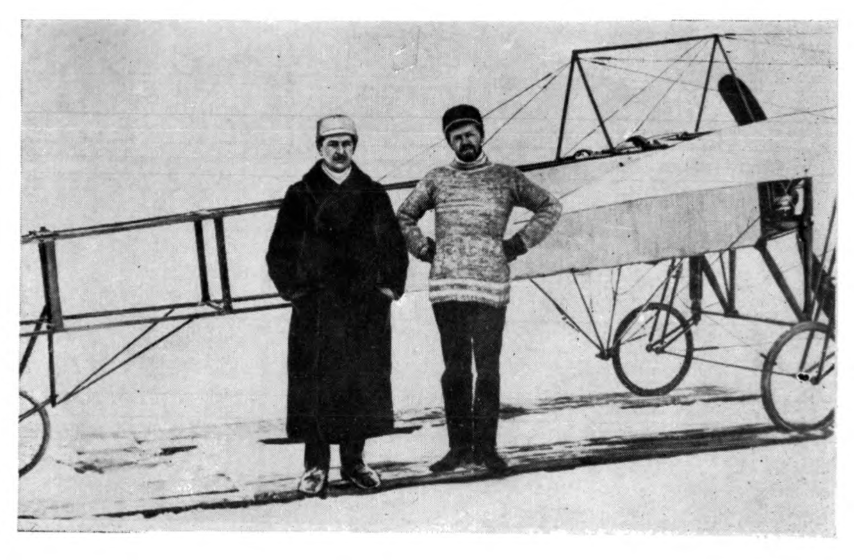
Через пять минут просмотра Шебуев сказал:

— Прекрасно. Необычайно. Напечатаем.

Я вышел вместе с Хлебниковым.

Я совсем забыл о театре; и сначала мы пошли ко мне пить чай, а потом к нему: очень хотелось узнать, как он живет, где, в каких условиях.

Был поражен: Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской.



Авиатор В. А. Лебедев и авиатор-поэт В. В. Каменский (справа) у аэроплана. Петербург. 1911.



В. Каменский в аэроплане. Варшава. 1911.

Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под кроватью белелись листочки со стихами и цифрами.

Но Хлебников был не от мира сего и ничего этого не замечал.

Как бы в качестве аванса я предложил ему двадцать рублей.

Но на другой день у него не было ни копейки.

Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык «под восточную музыку», но музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал весь свой первый аванс.

— Ну хоть шашлык-то вы съели? — заинтересовался я, сидя на досках его кровати.

Хлебников рассеянно улыбался:

— Нет... не пришлось... но пели они замечательно. У них голоса горных птиц.

С этих минут Хлебников был со мной почти неразлучно.

Мы крепко сдружились.

Он буквально скакал от радости, когда я принес ему журнал «Весну» с рассказом «Искушенье грешника».

Сияющий автор воскликнул:

— Надо бы устроить пир, но у меня нет золота!

Все же мы устроили, ибо оба любили беспечную, окрыленную молодость и веселье без берегов.

Леонид Андреев. Давид Бурлюк

С утренним поездом я вернулся из Финляндии, с дачи Леонида Андреева, где переночевал и получил начало большого рассказа «Царь», четко написанного на почтовой клетчатой бумаге крупного формата.

Леонид Андреев в эту пору громадной славой своей затмил всех писателей и потому казался непостижимым, загадочным гигантом, особенно для нашего молодого брата.

До поездки я встречал его несколько раз в курительной комнате фойе театра Комиссаржевской, — там ему и был представлен как редактор «Весны» Петром Пильским.

Но таких редакторов, как я, около знаменитого писателя было очень густо, и едва ли его величие заметило меня, рыжего человека в табачном костюме, да еще некурящего.

Словом, до поездки, судя по леонидоандреевским произведениям, я воображал, что увижу невероятно мрачную фигуру с черным пронзительным взглядом в глубину неразрешимых, проклятых вопросов.

Признаться, мне было заранее страшновато, ибо я-то обладал избытками жизнерадостности: все мне было весело, все интересно, все кружилось в вихре взбудораженной юности.

Ну какой же я собеседник для Леонида Андреева?

Однако с первой же минуты все получилось совершенно иначе.

Леонида Николаевича я встретил катающимся на велосипеде.

Приветливо поздоровавшись, он предложил:

— Давайте покатаемся вместе, а после этого приятно будет пить чай.

Через минуту он вытащил второй велосипед, и мы заколесили по тропинкам сосновой рощи.

Я ехал позади великого писателя и думал: вот те на — ни с того ни с сего я катаюсь с самим Леонидом Андреевым так, будто мы друзья детства.

Он мне рассказывал, какие нас ждут приятные места дальше, как хорошо пахнут смолистые сосны, как зали-

ваются птички и что у него больное сердце — кататься много вредно.

— Но все в жизни вредно,— заявил знаменитый спутник, закуривая в десятый раз.

Курил он действительно много.

Велосипеды нас хорошо познакомили, и мы болтали без умолку о разных вещах и при этом напропалую острили.

И дома было просто и весело.

Надо сказать, что в качестве гонорара за рассказ я привез ему картину художника Коровина, снятую со стены квартиры Шебуева.

Писатель острил:

— В следующий раз Шебуев пусть пошлет мне самовар или граммофон — так потихоньку я обзаведусь необходимой обстановкой на новой даче.

Впрочем, картина Коровина «Ожиданье поезда на маленькой станции» писателю так понравилась, что он сказал:

— Вот я вглядываюсь и думаю, что можно смотреть на эту картину и писать рассказ на эту же тему. Ведь сколько таких людей на захолустных станциях ожидают поезда. Тут мысли о будущем, надежды, чаянья.

Говорил он медленно, тихо, много, как бы думая вслух.

Тут я узнал того самого Леонида Андреева, которого мы читали.

Дальше он стал показывать мне картины и портреты своей работы, но я их не оценил.

Он не обиделся:

— Кажется, только мне одному мои вещи нравятся, и то хорошо.

И вдруг:

— Знаете, я люблю писать по ночам, когда все спят. Сегодня буду работать над одной большой пьесой, а вам

6*

могу, если хотите, дать начало «Царя». Другого нет ничего — так и передайте Шебуеву.

Так я и передал.

Теперь Леонид Андреев в моих глазах двоился: один — страшный, вопрошающий, страдающий; другой — простой, веселый, любящий жизнь, спортсмен; в черной бархатной блузе с христовым лицом он больше походил на художника.

Удивительное дело: как только я прикасался к крупным писателям, знакомился с ними, весь ореол их величия спадал, рассеивался, и я ценил их иной, фантастической ценой.

До знакомства они мне казались непостижимыми сфинксами, а после — самыми обыкновенными людьми, но с изюминой.

Вернувшись от Леонида Андреева, в этот же день, по обязанности рецензента, я должен был пойти в пассаж, что на Невском, на вернисаж Выставки картин современной живописи.

Пришел в самый разгар.

Народу полно.

Среди публики увидел знакомых: Петра Пильского и высокого, под вид семинариста, Корнея Чуковского.

Шебуев их называл в журнале — Пильчуковский и Чукопильский.

Чуковский, рассматривая картины, положительно веселился, выкрикивая тоненьким тенорком:

— Гениально! Восхитительно! Зеленая голая девушка с фиолетовым пупом — кто же это такая? С каких диких островов? Нельзя ли с ней познакомиться?

Тут же стоял известный, популярный журналист из «Биржевки» Н. Н. Брешко-Брешковский, элегантно одетый, коротенький, полненький, с глазами рака.

Брешко-Брешковский спрашивал:

— Но почему она зеленая? С таким же успехом ее

можно было сделать фиолетовой, а пуп зеленым? Вышло бы наряднее.

— Это утопленница, — тенорил Чуковский.

Около «зеленой» стоял без улыбки, с видом ученого, в военном сюртуке доктора, пожилой, скуластый, с воспаленными глазами господин и объяснял:

— Мы, художники-импрессионисты, даем на полотне свое впечатление, то есть импрессио. Мы видим именно так и свое впечатленье отражаем на картине, не считаясь с банальным представлением других о цвете тела. В мире все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие — серебряным, третьи — розовым, четвертые — бесцветным. Право художника видеть как ему кажется — его полное право.

— Кто это говорит, кто? — шептались в публике.

Чуковский заявил громко:

— Это сам художник, приват-доцент Военно-медицинской академии доктор Николай Иванович Кульбин.

Кто-то бросил из толпы:

— Сумасшедший доктор.

В этот момент на другом конце зала раздался густой, брюшной, почти дьявольский хохот.

Брешко-Брешковский бегом пустился туда:

— Ну и выставка! Гомерический успех!

Я — за ним.

Там перед густой толпой стояли двое здоровенных парней.

Один — высокий, мускулистый юноша в синем берете, в короткой вязаной матросской фуфайке, с лошадиными зубами настежь.

Другой — пониже ростом, мясистый, краснощекий, в короткой куртке; этот смотрел в лорнет то на публику, то на картину, изображающую синего быка на фоне цветных ломаных линий, вроде паутины, и зычным, сочным баритоном гремел:

— Вас приучили на мещанских выставках нюхать гиацинты и смотреть на картинки с хорошенькими, кучерявыми головками или с балкончиками на дачах. Вас приучили видеть на выставках бесплатное иллюстрированное приложение к «Ниве».

— Кто приучил? — крикнули из кучи.

— Вас приучили, — продолжал мясистый оратор, — разные галдящие бенуа и брешки-брешковские, ничего не смыслящие в значении искусства живописи.

Брешко-Брешковского передернуло:

— Вот нахальство!

Оратор горячился:

— Право нахальства остается за теми, кто в картинах видит раскрашенные фотографии уездных городов и с таким пошляцким вкусом пишет о картинах в «Биржевках», в «Речи», в зловонных «петербургских газетах».

Брешко-Брешковский убежал с плевком:

— Мальчишки в коротеньких курточках! Нахалы из цирка! Маляры!

Оратор гремел:

— А мы, мастера современной живописи, открываем вам глаза на пришествие нового, настоящего искусства. Этот бык символ нашего могущества, мы возьмем на рога этих всяких обывательских критиков, мы станем на лекциях и всюду громить мещанские вкусы и на деле докажем правоту левых течений в искусстве.

— Как ваша фамилия? — спрашивали рецензенты.

— Давид и Владимир Бурлюки, — отрекомендовался вспотевший художник.

Я схватил горячую руку агитатора, и он повторил:

— Давид Бурлюк. К вашим услугам.

С этого момента мы слились в неразлучности.

Бурлюки сейчас же познакомили с Кульбиным, Якуловым, Лентуловым, Ольгой Розановой, Ларионовым, Гон-

чаровой, Татлиным, Малевичем, Филоновым, Спандиковым.

Все эти крепкие, здоровые, уверенные ребята мне так замечательно понравились, будто в жизни я их только и искал.

И вот нашел, и расставаться не хочется: ведь то, о чем бурно говорил Бурлюк, сам целиком стихийный, начиненный бурями протеста и натиском в будущее, убежденный в новаторстве, многознающий, современный человек культуры, — все это жило, существовало, действовало, говорило во мне.

На другой же день я был у Бурлюков, ровно с ними родился и вырос.

Я читал свои стихи, а Давид — свои.

Я говорил свои мысли об искусстве будущего, а Давид продолжал так, будто мы строили железную дорогу в новой открытой стране, где люди не знали достижений сегодняшней культуры.

И в самом деле это было так.

Бытие определяет сознание.

Мы превосходно видели и сознавали, что величайшая область русского искусства, несмотря на революцию 1905 года, оставалась ничуть не задетой новыми веяньями, освежающими ветрами из утр будущего.

Мы великолепно сразу поняли, что в этой широкой, высококультурной области надо взять почин-вожжи в руки и действовать организованно, объединив новых мастеров литературы, живописи, театра, музыки в одно русло течения.

И, главное, мы уразумели истину, что должны апеллировать непосредственно к публике, к толпе, и особенно к передовой молодежи, чтобы наше движение приняло общественный характер, чтобы мы стали самой жизнью, а не книжной канцелярией исходящих и входящих образцов искусства.

Умудренные революцией, мы теперь знали, что для успешного переворота в искусстве нам нужны стойкие соратники, вооруженные блестящей техникой мастерства.

В отношении литературы я предложил двинуть Хлебникова, о котором рассказывал в самых восторженных утверждениях:

— Хлебников — гениальный поэт!

И привел Хлебникова к Бурлюкам.

Давид Бурлюк с величайшим вниманием прослушал хлебниковские вещи и подтвердил:

— Да, Хлебников — истинный гений.

Теперь Хлебников почти переселился к Бурлюкам и даже вместе с ними уехал гостить на лето в Херсонскую губернию, где жили бурлюковские родители.

Меж тем Брешко-Брешковский напечатал в «Биржевке» статью «Мальчики в коротеньких куртках», в которой отчаянно разругал Бурлюков и Кульбина.

Это же, конечно, проделали и другие газеты.

Зато «Весна» восхвалила новых художников и дала их картины в репродукциях.

На лето я уехал в Пермь и поселился в глухой деревушке Новоселы.

Там, на речке Ласьве, нашел заброшенную землянку, уладил ее по-хорошему и стал жить, работать по агрономии (наверстывать пропущенные лекции), по литературе.

Много охотился за рябчиками, утками.

Много сжег костров на берегах.

И немало гулял по Новоселам с деревенскими ребятами, играя на гармошке, распевая частушки, прославляя молодость.

Энергии хватало на все и даже оставалось на то, чтобы помогать крестьянам косить траву и пилить дрова в лесу.

Здесь набирался здоровья для борьбы впереди.

Здесь учился у птиц петь струистые, сочные, звенящие песни.

Здесь в громовые часы гроз думал о том, что вот так бы, как гроза идет, уметь писать, уметь говорить молниями, вызывая гром восприятия читателей.

В эти стихийные часы писал — не на бумаге, а в голове, — сочинял песни о Степане Разине:

Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься по берегам.

Мысль написать о Степане Разине пришла здесь и казалась самой заманчивой идеей: ведь эта крепкая дума жила во мне с детства, росла вместе со мной как сестра родная.

Основание футуризма

Перед отъездом в Петербург, осенью 1909 года, в Пермском научном музее я прочитал первую публичную платную лекцию «Путь молодой литературы».

Зеленые афиши с оригинальной конструкцией шрифтов, расклеенные по городу, острые тезисы темы собрали полный зал публики, среди которой находились П. А. Матвеев, железнодорожники, студенты, родственники.

Лекция кончилась стихами Хлебникова под недоумевающие улыбки одной части аудитории и под одобрительные хлопки другой.

Я видел, с каким радостным любопытством слушали меня бывшие сослуживцы-железнодорожники, будто говорившие: вот он, наш Вася, — не пропал.

Я, конечно, гордился первым успехом в «отечестве своем» и, как на крыльях, улетел в Петербург.

К этому времени вернулись из Херсонской губернии Бурлюки с Хлебниковым.

К двум Бурлюкам присоединился третий брат — Николай Бурлюк, студент, поэт нашего лагеря.

Давид нашел еще одного поэта — Бенедикта Лившица.

Армия левых росла.

Энергичный профессор Военно-медицинской академии статский советник Николай Иванович Кульбин, прозванный в фельетонах за свой либеральный импрессионизм и возню с бурлюками «сумасшедшим доктором», теперь организовал громадную выставку картин левых течений.

Мы, бурлюки (в печати нашу группу так «бурлюками» и называли), придавали этой выставке решающее значение, так как здесь удобно было объединить, наконец, всех крупных мастеров левого движения искусства.

Следует сказать, что в это время я работал по живописи в открывшейся студии Давида Бурлюка, сделал картину и повесил на выставке, как настоящий художник.

Наш организационный план удался.

По части исканий и теории современного театра к нам вошел самый известный и модный режиссер той поры Николай Николаевич Евреинов.

По части музыки — двое молодых композиторов и отличных пианистов: Анатолий Дроздов и Лурье.

По части живописи: Бурлюки, Якулов, Ларионов, Гончарова, Ольга Розанова, Лентулов, Матюшин, Малевич, Татлин, Кульбин.

По литературе: Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский и Елена Гуро.

С Еленой Гуро (она принесла также свои картины) мы познакомились на выставке перед открытием, пошли к ней, прослушали ее замечательные произведения и сразу сдружились на почве родственного мастерства.

На этой же выставке я увидел необыкновенную пару: этакого вихрастого высоченного роста юношу, пошвыркивающего нервным носом, и рядом — чуть поменьше длиной — красавицу блондинку.

Это оказались соучастники выставки художники Эля и Борис Григорьевы.

С такой отменной парой не познакомиться было невозможно, потому что картины Бориса Григорьева по качеству были не меньше его роста, а сами Григорьевы — нестерпимо симпатичны.

Мы поприветствовались, пошли к ним пить чай со стихами и с этого вечера стали великолепными друзьями.

Григорьевы до умопомрачения любили Кнута Гамсуна, восторгались стихами Хлебникова и моими, много читали, работали и вообще были энтузиастами — это нас крепко связало.

От знакомства с Н. Н. Евреиновым также осталось обаянье сверх меры одаренного человека.

Николай Иванович Кульбин представил его так:

— Вася, перед тобой — блестящий Евреинов. Это не человек, а фонтан интеллекта. Везувий до безумия.

— Эти комплименты я уступаю вам, Николай Иванович,— улыбался из-под своей челки склонившийся Евреинов, — как отвечающие действительному адресу.

Кто из этих двух рыцарей искусства был прав, трудно сказать, ибо оба мне нравились.

Кульбин, работавший по медицине и занимавшийся левой живописью, Кульбин — настоящий ученый и он же пламенный фантазер, — разве этого мало для любви?

И мы любили его.

Мы часто собирались у него на квартире, рисовали, читали стихи, обсуждали планы дальнейших работ, слушали новые композиции Анатолия Дроздова, Лурье.

Эти же пианисты прекрасно играли Скрябина.

Бурно мы готовились к следующим выставкам, так как

минувшая выставка привлекла громадное внимание и вызвала горячие разговоры о невиданных картинах современной живописи.

Брешко-брешковские с возрастающим озлоблением издевались в своих обывательских газетах над «бурлюками» и «сумасшедшими врачами», пороли всякую несусветную чушь о новом искусстве, лишь бы гуще затмить мозги несчастных читателей, лишь бы обильнее напакостить в будущее, лишь бы этим глумленьем развлечь буржуазное петербургское общество.

Но мы, разумеется, не унывали, а, напротив, торжествовали, что задели за живое будуарные вкусы всяческих критиков, этих расторопных официантов при сытых столах гогочущих господ.

Однако успеха картинных выставок нам было далеко не достаточно; и теперь, набравшись сил, организовавшись в крепкую, дружную группу, наша литературная часть решила бросить бомбу в уездную безотрадную улицу общего литературного бытия, где декаденты уступали в конкуренции с порнографией, где мистики символизма тонули в бумажных морях Пинкертона, где читатели тупо совались от Бальмонта к Вербицкой и обратно.

Главное — нестерпимая скука жила на улице литературы, как в стоячем болоте.

Недаром Алексей Ремизов разводил чертей, жаб, домовых, леших, банных, кочерыжек.

Недаром стены ремизовской квартиры густо разукрашены коллекцией рогатых, хвостатых чертей всякого преисподнего происхождения.

Да и сам Ремизов походил на колдуна-шептуна, что, впрочем, не мешало ему писать крепкие, как бражное пиво, сказки и наворачивать сумбурные «сны».

Нам также нравился Александр Блок, но он ежился от холода непонимания и в одиночестве шел «своей стороной».

Я бывал у Блока на квартире, на Галерной улице, и уходил от него с болью: вот, мол, какой он громадный, культурный поэт, а живет будто на пустынном острове — в своем тихом синем кабинете, под большим синим абажуром и на письменном столе — синие конверты.

И сам Александр Александрович одет в синюю блузу с байроновским воротником.

Блок удивлялся и тихо спрашивал:

— Откуда вы черпаете столько энергии, жизнерадостности?

Я объяснял, а он говорил:

— Для этого, очевидно, надо жить на людях — я не умею так. С головой увяз в книги и вот сижу зарытым, и, мне кажется, меня мало понимают или, вернее, совсем не понимают. Я как-то вне этой общей жизни, и, знаете, меня к ней не тянет.

Так по-блоковски, по-ремизовски, по-бальмонтовски, по-андреевски, по-купрински, по-арцыбашевски, по-вербицки, по-мережковски все писатели жили в одиночку, врассыпную, вне общей жизни, оторванные, отрезанные от читателей.

Правда, в религиозно-философском обществе выступали с докладами Мережковский, Философов, Гиппиус, Вячеслав Иванов.

Но эти сектантские собрания были столь специфичны, что лишь углубляли тоску стоячего болота.

Мережковский рассуждал на тему о том, что русский народ считает себя Авелем, а интеллигенцию — Каином и что может так случиться, если роли переменятся, что Каин убьет Авеля.

И было непонятно, кто же в конце концов кого убьет и почему?

Ибо по этому поводу «народ безмолвствовал».

У народа был свой враг — монархия и буржуазия.

Но об этом писатели говорили шепотом.

И только такие отборные публицисты, как Гершензон, П. Струве, Бердяев, Изгоев, Булгаков, Франк, нашумели в этот год своими «Вехами», сборником статей о русской интеллигенции.

Эта книга «жгучей тревоги за будущее родной страны» являлась проверкой духовных основ интеллигенции, потрясенной пораженьем революции 1905 года.

Цель: «Уразуметь грех прошлого» и указать, что «путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик».

И верно: превосходные знатоки русской интеллигенции блестяще доказали жуткую безвыходность тупика.

Громадным пессимизмом разочарования веяло от «Вех», как и безнадежностью провидения новой интеллигенции, более способной на решительные дела освободительного движения.

А пока — поражение, азефовщина, покаяние, богоискательство, угрызения совести, оторванность от народных чаяний.

И зеркало — литература.

Вообще литературная жизнь того времени напоминала нудную польку из андреевской «Жизни человека» — эту пьесу поставил у Комиссаржевской знакомый Мейерхольд, за исключительной работой которого я следил теперь издали.

Ну ясно, что газеты ругали Мейерхольда, как и все, выходящее из лакированных рамок обывательского серобудничного бытия.

Надо отдать полную справедливость газетам и журналам той тяжкой поры черной реакции (наша «Весна» давно кончилась): всякое новое проявление в искусстве печать встречала остервенелыми глазами и бешеным лаем из подворотни хозяйских домов благополучия.

О, тем приятнее нам было швырнуть свою бомбу —

начиненную динамитом первого литературного выступления общую книгу «Садок Судей».

Мы великолепно понимали, что этой книгой кладем гранитный камень в основание «новой эпохи» литературы и потому постановили:

1) разрушить старую орфографию — выкинуть осточертевшие буквы ять и твердый знак;

2) напечатать книгу на обратной стороне комнатных дешевых обоев — это в знак протеста против роскошных буржуазных изданий.

3) выбрать рисунок обоев бедных квартир и этот рисунок оставить чистым на левых страницах как украшение;

4) дать матерьял только «лирический», чтобы нашу книгу не могли конфисковать власти по наущению газет, от которых ожидали травли;

5) авторы: Хлебников, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Елена Гуро, Мясоедов, Е. Низен, рисунки Влад. Бурлюка;

6) издать «Садок Судей» на товарищеских началах;

7) по выходе книги появиться всем где возможно, чтобы с «Садком Судей» в руках читать вещи и пропагандировать пришествие будетлян (от слова «будет», по Хлебникову).

С громовой радостью мы собирались у меня на квартире, на Фонтанке, и делали книгу.

Да! Это был незабываемый праздник мастеров-энтузиастов-будетлян.

Хлебников в это время жил у меня, и я не видел его более веселого, скачущего, кипящего, чем в эти горячие дни.

Он собирался весь мир обратить в будетлянство и тут же предлагал прорыть канал меж Каспийским и Черным морями.

Я поддерживал Хлебникова во всю колокольню:

— Витя, давай, гуще давай проектов, шире работай мотором мозга, прославляй великие изобретенья аэропланов, автомобилей, кино, радио, икс-лучей и всяческих машин. Ого! Мир только начинает, его молодость — наша молодость. Крылья Райтов, Фарманов и Блерио — наши крылья. Мы, будетляне, должны летать, должны уметь управлять аэропланом, как велосипедом или разумом. И вот, друзья, клянусь вам: я буду авиатором, черт возьми. Что стихи? Что наша литературная бомба? Ведь это только звено из цепи наших возможностей, кусок из арсенала энергии.

Давид Бурлюк в упор смотрел на меня в лорнет и ржал жеребцом:

— Вася на аэроплане! Вася — птичка! Вася на крыльях с пропеллером! Поэт-авиатор! Вот это дело, достойное храброго будетлянина.

Хлебников, будоража волосы, то корчился, то вдруг выпрямлялся, глядел на нас пылающей лазурью, ходил нервно, подавшись туловищем вперед, сплошь сиял от прибоя мыслей:

— Вообще... будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия... Мы будем соединяться с материком посредством аэропланов, как птицы. Станем прилетать весной и выводить разные идеи, а осенью улетать к себе.

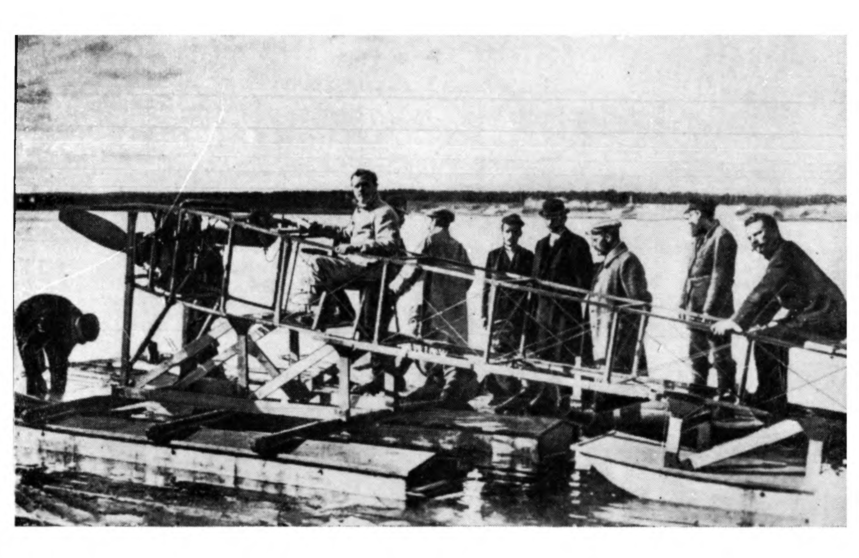
Сверхреальный Давид Бурлюк наводил лорнет на нездешнего поэта и спрашивал:

— А чем же мы, Витя, станем питаться на этом острове?

Хлебников буквально пятился:

— Чем? Плодами. Вообще мы можем быть охотниками, жить в раскинутых палатках и писать... Мы образуем воинственное племя.

Володя Бурлюк, делая за столом рисунки для книги, хохотал:



В. Каменский испытывает в Перми на Каме сконструированный им аэроход (прообраз глиссера).



Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский в период большого турне по стране (декабрь 1913 — март 1914).

— И превратимся в людоедов. Нет, уж лучше давайте рыть каналы. Бери, Витя, лопату и айда без разговоров.

Тогда Хлебников терялся, что-то шевелил губами и потом заявлял:

— Мы должны изобрести такие машины... вообще...

А вообще нам было беспредельно весело.

Нереальные, но прекрасные фантазии Хлебникова сталкивались с трезвой реальностью наших натур, и от этого происходил треск взаимных восторгов.

Давид Бурлюк был старшим в нашем братском будетлянстве; он значительно больше нас знал жизнь искусства, полнее насыщен был теоретическими познаниями, остро владел установившимся, точным вкусом и потому, по существу, являлся нашим учителем.

Его концентрированный темперамент, размах широкой воли к действию, пружинная убежденность открывателя, возрастающая настойчивость в борьбе за новое искусство, за нового человека на земле заражали нас до степени обоснованного упорства, делали нас сознательными, энергичными мастерами, вырабатывали из нас людей современной формации.

И когда, наконец, вышла наша первая «историческая» книга «Садок Судей», мы превосходно знали, о чем и как надо разговаривать с окружающим обществом.

Бомба была брошена умелой рукой, в подходящее место и время.

С оглушительным грохотом разорвалась эта бомба на мирной, дряхлой улице литературы, чтобы заявить отныне о пришествии новой смены новых часовых, ставших на страже искусства по воле пришедшего времени.

Это совсем замечательно, что критики, писатели, буржуи, обыватели, профессора, педагоги и вообще старичье встретили нас лаем, свистом, ругательствами, кваканьем, шипеньем, насмешками, злобой, ненавистью.

Газетные брешковские-измайловы-яблоновские-суворины крыли нас обойными поэтами, геростратами, мальчишками-забияками, сумасшедшими, анархистами, крамольниками.

О, конечно, крамола была: только за одно уничтожение священной буквы ять нас клеймили позором безграмотности и шарлатанства.

Однако наша ставка, наша опора на передовую молодежь оказалась вполне верным расчетом.

Достаточно было появиться мне и Николаю Бурлюку в университете, на женских курсах, на сельскохозяйственных, достаточно было, размахивая «Садком Судей», выступить со стихами и речами о будетлянстве, как вихрь бурной, бушующей юности циклоном приветствий охватывал огромные аудитории.

Здесь, среди штормового моря молодежи, мы нашли свое первое торжественное признание и знали, что пребудем в этой чудесной молодости до скончанья дней впредь.

Вот это была истинная опора, стена, крепость.

Сам студент (я до этой поры держал постоянную связь с курсами, посещал лекции, участвовал в студенческих организациях), сам активный работник, близко знакомый студенчеству по прежним литературным трактатам, я был здесь дома, среди своей дружины, и мне верили, что зря, на ура стоять за кафедрой не буду.

Всегда чувствовал, знал, видел, что ребята ждут от меня нового, горячего слова.

Помню: будто автомобильные прожекторы горели в движении глаза густой массы молодежи, сердца работали моторами, лица сверкали ракетами, руки взрывались грохотом восторгов, прерывая неслыханные мысли о пришествии будетлян.

Главное — все единодушно понимали, что суть нашего пришествия не только в книге «Садок Судей», но в тех

огромных затеях будущего, за которое мы энергично взялись в надежде на поддержку армии передовой молодежи.

Так, через тупые головы газет, критиков и обывателей, но с действующей армией таких же будетлян, мы начали свое дело.

Так в 1909 году основался в Петербурге российский футуризм.

Правда, тогда мы, будетляне, базируясь на производстве новых слов русского языка, не называли себя футуристами, ибо не могли знать, что в следующем году сумбурные телеграммы газет как очередную заграничную сенсацию поднесут известие о появлении на свет итальянских футуристов во главе с Маринетти.

Но «будетляне» и «футуристы» — аналогия значенья слов полная, бесспорная.

Из сказанного до сих пор совершенно ясно, что зарождение нашего русского футуризма, наша «революция в искусстве», наша борьба за новое искусство и наши работы — явления исключительной самостоятельности, продиктованные временем и кризисом, отсталостью, мертвечиной, пессимизмом, мещанством, пошлостью старого искусства.

И вот здесь следует заявить о полнейшей безграмотности наших доморощенных критиков, которые даже и сейчас (ведь двадцать лет миновало!) * пишут «под вид ученых», что-де мы, футуристы, все, огулом пошли от Маринетти.

Для критиков все делается просто.

И какое им дело, что «Манифесты итальянского футуризма» появились в переводе Вадима Шершеневича в 1914 году.

---

* Первое издание книги «Путь энтузиаста» вышло в свет в 1931 году. Ред.

Только в 1914-м — это когда мы уже целых пять лет, как известно, властвовали по всей России, объездив с лекциями, диспутами, произведениями, пропагандой почти все города.

Ведь недаром в ушах звоном гудело эхо от недавнего землетрясения, когда в первый раз, раскаленный молодежью, я прочитал с огнем в зубах:

Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься по берегам.
Сарынь на кичку!
В Казань, Саратов!
В дружину дружную на перекличку,
На лихо лишное врагам!

Елена Гуро

Безусловно, мы сияли имениннниками.

Наш успех был таков, что мы носились всюду угорелыми, пьяными от молодости и удачного начала.

Даже скромный Витя Хлебников, проживавший у меня, на Фонтанке, повел себя необычайно.

В одно из утр мы встали рано; я пошел в лавку купить ветчины и сыру для завтрака и, когда вернулся, остановился в дверях изумленный: Витя смотрел в окно с четвертого этажа и, залитый солнцем, с полотенцем в руках, пел.

О, как он пел! Тончайшим голоском, будто ниточкой, Витя разматывал какую-то невероятную мелодию с еле уловимыми нюансами.

Так поют персидские пастухи на высоких горах, и мне вспомнилась чудесная Персия — так и потянуло туда, в путь, к Тегерану.

Застыл в дверях, слушаю, удивляюсь: откуда он знает персидскую песню.

А он пел да пел, ну совсем как в Персии, и остановиться не может, и слова непонятны.

Возбужденный, я тихонько побежал вниз, купил бутылку красного вина, которое очень любил Хлебников.

Вернулся, а он все поет, но, когда кончил, взглянул на бутылку, обрадовался:

— Замечательно. Очень кстати.

— Это тебе, Витя, за персидскую песню.

Он гордо просиял.

— В таком случае я всю бутылку выпью один.

— Пожалуйста.

И он выпил, ликуя, что пьет один.

Впрочем, он знал, что я не люблю красного вина и вообще утром предпочитаю кофе.

Спросил:

— Откуда ты знаешь персидскую песню?

Хлебников втянул голову в плечи, потер лоб, по-детски выпятил губу:

— Персидскую? Вообще... будетляне должны двинуться на восток... Там лежит будущее России. Это совершенно ясно. Мы обязаны об этом написать и объявить народу.

А пока что мы, отзавтракав, побежали к Матюшиным, то есть к Елене Гуро, мужем которой был художник и музыкант Матюшин, превосходный, умный будетлянин, композитор.

Мы решили поздравить Елену Гуро с вышедшей большой книгой «Шарманка», где ее исключительное дарование было густо, ветвисто и стройно, как сосновая роща.

И сосновым теплом веяло от всей книги.

Легко дышалось при чтении книги Елены Гуро, и хотелось любить каждую каплю жизни.

И мы бесконечно умели любить жизнь, мир и этот де-

ревянный домик на Песочной, где обитала Елена Гуро в гнезде своих слов:

Доля, доля, доляночка,
доля ты, тихая-тихая моя, —
что мне в тебе, что тебе во мне,
а ты меня замучила.

А доля Елены Гуро в том была, что потеряла мать единственного сына-младенца и не могла смириться с горем.

Елена Гуро не поверила смерти сына, а вообразила, внушила себе, что жив сын, продолжает жить около матери.

И вот считает Елена Гуро дни, недели, месяцы, годы сыну своему, ежечасно видит его растущим; игрушки, книжки с картинками покупает ему, и на его детский столик кладет, и ему стихи, сказки сама пишет, рассказывает.

И больше — пишет с него портреты, одевая сына по степени возраста.

Вот она какая, эта удивительная Елена Гуро.

Когда мы с Хлебниковым восторженно поздравляли Елену Гуро с выходом в свет «Шарманки», она волновалась:

— Вот если бы меня так поздравили критики. Но этого никогда не будет, как не будет ума и вкуса у наших критиков, как не хватит уменья отличить меня от Вербицкой. Впрочем, что я болтаю — ведь им Вербицкая в тысячу раз ближе по глупости и пошлости.

Так, конечно, и было.

О Вербицкой писали, а о Елене Гуро тупо молчали, бойкотировали.

Наше содружество жило, росло, крепло в умах-сердцах восторженной молодежи.

На молодежь ставили карту.

От „Землянки" к аэроплану

Зеленый Мыс, возле Батума. Там, среди бананов, пальм, камелий, магнолий, бамбука, апельсиновых деревьев, мандариновых кустов; там, купаясь в море, валяясь на пляже под «турецким» бывалым солнцем; там, обветренный солеными ветрами, напряженный, наполненный, несущийся, как парус, работал, писал роман «Землянка», вспоминая новоселовскую жизнь в шалаше, где вел записки, наблюдения.

И эти записки мне помогали, как вокруг поющие птицы и близость моря.

Я любил писать и думать на севере о юге, а на юге о севере.

На круче гор трапезундских любил ощущать горячее дыхание самой жизни.

Что стихи, литература?

Это прекрасно, это дает многое, но это не больше парохода в море возможностей, а жизнь не знает пределов; жизнь широка, многообразна, изобретательна и ух как зовет для свершения невероятных дел...

Да, да, это — молодость!

Ветры, вихри, штормы, борьба, буйные затеи, даль, ширь, размах, воля, новизна — вот это будоражит, наполняет, пьянит и раскачивает так, что еле держишься на ногах.

Так бы, откинув гриву, бежать и бежать необузданным конем по степи цветущих дней.

В такие хмельные дни нелегко работать, нанизывать бисер букв на канву замысла.

Одно успокаивает: совершенно новая форма романа, со сдвигами, с переходом прозы в стихи и обратно — в прозу.

Друзья поддерживали письмами.

Давид Бурлюк, между прочим, писал:

Мы целые дни заняты картинами, стихами, книгами, разговорами-планами. Работа кипит. И мы ждем «Землянку». Нажимай крепче. Впереди — борьба отчаянная.

Хлебников откликался из Святошина посланием:

Пишу в надежде в близком будущем пожать руку. Лето провожу в плену «бесерменском полохе». То, что хотел сделать, не сделал. Написал «Внучка Малуши», которой, однако, не могу похвастаться. Мое настроение в начале лета можно было бы назвать «велей злобой» на тот мир и тот век, в который я заброшен по милости благого провиденья. Теперь же я утихомирился и смотрю на божий свет тихими очами. Задумал сложное произведенье «Поперек времен», где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке. Каждая глава должна не походить на другую. При этом с щедростью нищего хочу бросить на палитру все свои краски и открытия, а они каждое властвует только над одной главой. При этом право пользования вновь созданными словами — писание словами одного корня, эпитетами мировых явлений, живописанье звуком. Будучи напечатанной, эта вещь казалась бы столько же неудачной, сколько замечательной. Заключительная глава — мой проспект на будущее человечество. А вообще — мы — ребята добродушные: вероисповеданье для нас не больше, чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые, косые). Или с рогами или без рог родился звереныш: с рогами козленок, без рог теленок, а все годится — пущай себе живет (не замай). Сословия мы признаем только два — сословие «мы» и наши проклятые враги, чтоб им пусто было, чтобы на том свете черт лил им в горло горячий свинец! Мы знаем одну только столицу Россию и две только провинции — Петербург и Москву. Мы — новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. Как волну, нас не уловить никаким неводом постановлений. Там, где мы, там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица. Руку, товарищ Василий, пожарищ веселий.

Венок тебе дам и листвой серебра
Чела строгий камень одену.

От В. Хлебникова.

К посланию прилагались стихи поэта и нарисованные морды с выпученными глазами, как у Брешко-Брешковского.

Дружеские письма отрезвляли, втягивали в работу, для окончания которой уехал в Пермь.

Там жил на камском берегу, в лесной глуши, рыбачил, палил костры, бродил с ружьем по озерам, вдыхал тайгу, купался в Каме, катался на лодке, продолжал «Землянку».

В сентябре с законченным романом явился в Петербург.

И скоро книга была готова: напечатало издательство «Общественная польза», которым ведал С. Елпатьевский.

Отделом хозяйственным управлял Влад. Бонч-Бруевич.

Вообще это издательство отличалось красной идейностью.

Обложку и рисунки для «Землянки» делал Борис Григорьев.

Надо сказать, что перед появлением на свет книги в разных кружках я читал отрывки из нее.

На одном из чтений присутствовал известный критик А. А. Измайлов, который заявил мне:

— Поздравляю. Книга прекрасная, оригинальная, о ней будут говорить. Я лично напишу большую статью в «Русское слово», в «Биржевые ведомости». Прошу вас в первый же час выхода «Землянки» прийти ко мне в «Биржевку» с романом.

Неожиданное внимание критика тронуло.

Даже думал: вот повезло.

Ибо «Русское слово» расходилось по России колоссально: там были собраны все лучшие «имена» журналистов и писателей.

Появление статьи в «Русском слове» о новом писателе означало получить известность.

Меня, как выражаются, ждала известность.

Мне завидовали друзья, поздравляли. Но рановато.

В счастливый час рождения «Землянки» я схватил несколько книжек, горячих экземпляров и погнал на извозчике к Измайлову согласно уговору.

В приемной солидного предприятия долго ждал.

Наконец вышел ко мне худой, с лицом святого, в черном сюртуке Измайлов, холодно поздоровался и удрученно сказал:

— Ах, это вы. Но, милый мой, граф Лев Николаевич Толстой вчера ночью скрылся из дому и неизвестно где находится. Графа всюду разыскивают, и один бог знает, найдут ли. Вы сами понимаете, какое это великое событие, и мне, откровенно говоря, не до вашей книги. Но вы оставьте экземпляр мне. Если обойдется благополучно, напишу, как обещал.

Я вышел на улицу эгоистически опечаленным: ведь надо же было Льву Толстому скрыться из дому в ночь выхода моей «Землянки».

Это роковое сцепление обстоятельств огорчило меня окончательно: хотя Толстой нашелся, но заболел, а потом пришла смерть.

И действительно, весь мир был занят великой кончиной Толстого, и ясно, что было не до моего романа.

Но жизнь есть жизнь.

Еще в прошлом году дал клятву друзьям, что буду авиатором. И вот теперь, когда все человечество радовалось «завоеванию воздуха», когда в Петербурге прожужжали над изумленными головами первые аэропланы, я решил осуществить свою честную клятву.

Меня нестерпимо потянуло к крыльям аэроплана, да так потянуло, что лишился покоя и места на земле.

Захотелось приобщиться к величайшему открытию не на словах, а на деле.

Что стихи, романы?

Аэроплан — вот истинное достижение современности. Авиатор — вот человек, достойной высоты.

Уж если мы действительно футуристы (теперь назывались футуристами), если мы — люди моторной современности, поэты всемирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего, мастера дела и действия, энтузиасты-строители новых форм жизни, — мы должны, мы обязаны быть авиаторами.

Пусть отныне запах бензина и отработанного масла, пусть гладкая ширь аэродромов и готовые к отлету аппараты — эта жизнь да будет отныне.

Берлин. Париж. Лондон. Рим. Вена

Отныне петербургский аэродром стал местом моего «вдохновения».

И новые друзья — первые авиаторы Ефимов, Васильев, Россинский, Уточкин, Лебедев.

После первых полетов на «фармане» с В. А. Лебедевым я так окрылился, что земным больше не считал себя — весь ушел на воздух, всем существом слился с аэропланом.

И песней моей была жужжащая работа авиационных моторов.

Знаменитый спортсмен, велосипедный гонщик, авиатор, прославленный остряк, С. И. Уточкин, этот рыжий веселый заика в котелке, говорил мне:

— Ппп-оезжай, ббрат, в Париж, ттам тебя всему научат, и, кстати, ллетать. А если рразобьешься вдребезги, то оппять же в Пп-ариже, а не где-нибудь в Жжжмеринке.

Через двадцать четыре часа после слов Уточкина я получил заграничный паспорт.

И дальше началось, завертелось все, как в кино.

Экспресс сломя голову катит меня в Европу.

Вот и Берлин.

Встречают огромные предберлинские рекламные плакаты.

Смотрю: прямо по крышам домов несется городская железная дорога.

Автомобиль увозит в отель.

Прежде всего — предместье Иоганнисталь, здесь аэродром, ангары, аэропланы.

В первый раз вижу «воздушный корабль» — дирижабль Цеппелина.

Здесь же идет проба нового моноплана немецкого изобретателя.

Около аппарата — сам конструктор, в авиаторском костюме (штаны и куртка соединены в одно платье), без шлема. Он — молодой, кудрявый, русый, с голубыми глазами — очень волнуется, ибо до этого никогда не летал, а тут сразу решается на полет.

Про него говорят:

— Герой. Он не желает подвергать опасности авиаторов, не зная сам, что выйдет.

Но он ничего — улыбается, проверяет фюзеляж, шасси, крылья и тихонько бросает:

— Уведите подальше жену.

Садится. Заводят пропеллер.

— Контакт есть?

— Есть.

Мотор гудит.

Изобретателю дают шлем, но он отмахивается.

Дает знак — держащие за крылья отпускают аппарат.

Моноплан долго бежит, потом круто взмывает, летит и в конце аэродрома, на вираже, стремглав падает.

Раздается треск.

Все несутся туда.

На велосипеде пронесся санитар с аптечкой.

С места катастрофы кричат:

— Жив! Жив!

Бегут фотографы с аппаратами.

Это «жив!» радостно раздается кругом.

Героя ведут под руки навстречу рыдающей жене. Он ее успокаивает, целует, садится в автомобиль, и они едут к разбитому аэроплану.

А через четверть часа другой авиатор пробует другой моноплан, тоже немецкой конструкции.

Этот удачнее: сделал круг и опустился, но чуть не налетел на снимающего фотографа, выбежавшего вперед.

Несчастный фотограф со страху перевернулся с аппаратом несколько раз.

В толпе у дирижабля я услышал:

— Кнут Гамсун.

Говорили, что здесь был Кнут Гамсун.

Вечером в артистическом кафе, на Фридрихштрассе, я пил баварское пиво и сквозь сигарный дым и шум снова услышал:

— Кнут Гамсун.

Стал осматривать столики и сразу узнал по фотографиям: у окна в сером костюме — в крупную нитку — сидел мой любимый писатель, склонившись над тарелкой с сосисками.

Заметил, как нервно шевелились его усы с проседью и волосы не были всклокочены, как на портретах.

Он деловито съел сосиски и пошел, но у самого выхода ему зааплодировали — он снял шляпу и прибавил ходу.

А я думал о «Пане» и «Виктории»: несомненно Гамсун сам был Томасом Гланом и Иоганнесом.

Нет, нет, Глан не умер в Индии от нечаянного выстрела на охоте.

Я его видел — он жив.

Из кафе я отправился в цирк — смотреть «Эдипа» в постановке Макса Рейнгардта.

Эдип-Моисси — отличный мастер голоса и игры. Постановка массовая, с прожекторами — этого нигде не видел и потому возношу Рейнгардта, как Колумба театра.

Весь следующий день провел в изумительном берлинском зоологическом саду, где одна обезьяна, когда ей давали шоколад, посылала воздушный поцелуй и говорила: «Гут. Данке».

Бродил по зоологическому и вспоминал прекрасную хлебниковскую вещь «Зверинец» из «Садка Судей»:

«Сад, сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий».

Но никто не заметил «Зверинца» Хлебникова.

Нет, легче не думать об этом.

Летать, летать! Лишь бы не знать обид и тяжестей на литературном базаре, где гениальность Хлебникова — самый ненужный товар.

Вперед. К цели.

Экспресс несет в Париж.

И вот столица первого провозглашения коммуны, столица Европы, столица искусства, столица авиации.

Париж сразу кажется близким, своим городом, где, несмотря на его грандиозность, в три дня почувствуешь себя по-домашнему: кругом веселые, стрекочущие, быстрые французы.

В сравнении с полицейским, военным, чиновничьим будничным Петербургом Париж выигрывает: здесь бурлит, клокочет вечный праздник свободной и легкой, как пух, жизни.

Париж для русского — это воля для арестанта: здесь не видишь тюремных надзирателей николаевской рабской России.

Я поселился в «Гранд-отеле» на площади Гранд-Опера, в 826-м номере.

И сразу поразился: у меня не спросили паспорта, а только записали, что № 826 занят месье Базиль Каменским.

При каждом номере — балкончик.

С балкона, как с аэроплана, виден Париж: ажурножелезная башня Эйфеля, гигантское колесо карусели, Луксорский обелиск, Триумфальная арка, Июльская колонна на площади Бастилии, бесконечные бульвары, собор богоматери, мосты через Сену, Пантеон — место погребения великих людей Франции.

И еще очень много всяких знаменитых, исторических возвышений и просто великолепнейших зданий высокой культуры.

Словом, Париж есть Париж, и для описанья его требуются книги и уйма времени.

Меня же в столице авиации, в этот воздушный период, интересовал только аэродром в Исси-ле-Мулино, что под боком Парижа.

И тут я, действительно, был потрясен. Масса ангаров, масса аэропланов различных систем, которые теперь ушли в область интересных воспоминаний о «детстве авиации»: «блерио», «фарманы», «антуанетт», «райты», «вуазены», «зоммеры», «ньюпоры», «савари», «бреге», «демуазель», «сольние», «кодроны», «куртиссы», «тельье», «анрио».

И почти все изобретатели французских конструкций были здесь, в Исси-Мулино, на пробных полетах с каждым днем совершенствовавшихся аэропланов и авиаторов.

Шла страшная, не на жизнь, а на смерть, конкуренция авиационных фирм.

Самыми популярными в то время были монопланы Блерио и бипланы Фарманов, Анри и Мориса.

Здесь же были школы пилотов-авиаторов и мастерские авиационных моторов.

Я решил летать на монопланах Блерио, переговорил со знаменитым изобретателем, и он послал меня прежде всего в мастерские, чтобы научиться разбирать и собирать моторы Анзани и ротативные Гнома.

Предварительная теоретическая подготовка у меня была еще в Петербурге: готовился у В. А. Лебедева, большого знатока-инструктора.

В парижских мастерских, под руководством старшего механика, я работал много, усердно, успешно и скоро самостоятельно регулировал моторы.

Явился с письмом механика к изобретателю Блерио; он тут же, на аэродроме, усадил на двухместный моноплан, и я, в качестве пассажира-ученика, полетел, остро наблюдая за каждым движеньем молодого, веселого авиатора-инструктора, который под гул мотора звонко кричал:

— Смотрите. Клеш свободно, на себя — в высоту, от себя — вниз. Равняйте прямую линию. Главное, ногами регулируйте руль хвоста. Слушайте мотор. Следите за смазкой. Контакт выключаем. Планируем.

А в глазах панорама: весь Париж будто встал на дыбы и качается, как исполинский корабль.

Но тут было не до впечатлений: каждая секунда на учете.

На земле авиатор улыбается:

— Все очень просто — надо только уметь.

А в это время — трах! — кто-то грохнулся аэропланом об землю, только столбик пыли повис над разбитым аппаратом.

Суматоха. Беготня.

Мой инструктор курит спокойно:

— Это «антуанетт». Красивые, но плохие аппараты. Разбили тридцать тысяч франков.



Афиша о выступлении В. Каменского, Д. Бурлюка и В. Маяковского в Казани в 1914 году.



В. Каменский, А. Лурье, О. Розанова, Н. Кульбин (сидят), В. Маяковский (стоит). 1915.

После шести учебных полетов — раз в сутки, так как учеников было много, — мне дали, наконец, сесть на «блерио» с мотором Анзани, но не для полета.

Сначала надо было научиться регулировать, то есть, пустив мотор на полный газ, бегать по аэродрому с поднятым хвостом аппарата.

Это называлось «почувствовать хвост».

О, какое это было неповторимое счастье — остаться одному на аэроплане и в первый раз в жизни помчаться по аэродрому.

От быстроты выкатывались слезы, а лицо обрызгивалось распыленным касторовым маслом, которым смазывался мотор.

Я чутко «почувствовал хвост», сделал круг и вернулся.

Тут бы только и нажимать дальше, но большое количество учеников разных национальностей создало очереди да притом еще за отдельную плату стали давать учиться вне очереди и справедливости.

Меня вызвали в контору дирекции и попросили внести очень крупный аванс на случай поломки аэроплана.

Я сообразил, что порчу аппарата могут подготовить по неопытности другие ученики, да и денег у меня не было.

Постановка авиационного дела являлась явно коммерческим предприятием.

Все эти затруднения заставили меня с грустью временно отказаться от ученья под предлогом скорой получки денег «из доходов испанского короля».

Решил продолжать авиационную работу в России и там сдать экзамен на пилота-авиатора.

Меж тем я насмотрелся в Париже всяческих чудес.

На аэродроме в Исси-ле-Мулино видел Анатоля Франса, Метерлинка, Пьера Лоти, Эмиля Верхарна, Анри Бергсона, Гергарта Гауптмана.

Некоторые из них летали с Анри Фарманом на его биплане пассажирами.

Тогда же с Фарманом летал наш знаменитый борец, чемпион мира, волжский богатырь Иван Заикин, который приехал покупать аэроплан.

Из писателей больше других понравился Метерлинк своим внушительным, боксерским видом и открытой жизнерадостностью убежденного спортсмена в шоферских рукавицах.

Видел незабываемое зрелище — весенний карнавал «Микарем»: из провинции Франции прибыли в Париж «королевы», выборные красавицы, девушки из работниц.

С утра сотни тысяч праздничных парижан — во всяческих маскарадностях, с оркестрами и просто с музыкальными инструментами, с громадными искусственными цветами, плакатами, игрушками, песнями — потоками бурного веселья разливались по бульварам.

«Королевы» в белых платьях сидели на возвышениях движущихся грузовиков, вдрызг разубранных цветами.

С аэропланов бросали в толпу цветы и кучи конфетти.

Вообще круговое сплошное бросание конфетти превратилось в метель, и к вечеру улицы на четверть покрылись разноцветным снегом.

Карнавальный поезд пестрел всевозможными выдумками, в том числе громадными толстопузыми резиновыми надутыми воздухом буржуями во фраках и цилиндрах, изображавшими хозяев-фабрикантов этих «королев» на день.

Побывал, конечно, и в кабачках Монмартра, пробовал абсент — любимое орошение Верлена, Артюра Рембо и многих поэтов, и побывал в знаменитых мюзик-холлах «Мулен-руж», «Альгамбре», где в роскошнейших ресторанах «при театре» бешено кутили с «этуалями» капиталисты всех стран.

Шампанское лилось водопадами сверхприбылей, и

сверхприбыли пенились шампанским, радужно отражаясь в густоте дамских бриллиантов.

При одной мысли о существовании рабочего или нашего брата-поэта эти головокружительные оргии капиталистов приводили в ужас, вызывали проклятия, скрежет на всю мировую несуразность двух крайних полюсов человеческого общества, двух непримиримых классов.

И это здесь, в городе парижских коммунаров.

Вообще ночной Париж, весь залитый электричеством, бесшабашным пьяным разгулом и рекламным, открытым развратом, устрашил меня, и этот Париж — ненавистен, противен.

В Лондоне открывалась первая всемирная выставка воздухоплавания.

В Париж прибыл из Петербурга авиатор Лебедев, чтобы поехать в Лондон, на выставку.

Лебедев, как со мной, был хорошо знаком с Фарманом (у него учился летать); и мы, втроем, отправились в Англию.

На океанском пароходе «последнего слова техники» нечаянно попали в сильнейший шторм, в дьявольскую качку; и надо было видеть, как всемирно прославленного бесстрашного авиатора-изобретателя Фармана укачало до сплошной рвоты.

Укачало и меня, но что я в сравнении с Фарманом, этим гением новой эры мира.

Ради одного сочувствия стоило укачаться.

После прибытия в Лондон вся Англия, вместе с выставкой и старинным отелем «Сесиль», где остановились, качалась в моих глазах три дня, и при этом весь Лондон действительно был густо окутан туманом — значит, насчет туманов говорили верно.

Столица Великобритании после бурлящего Парижа показалась тихой, спокойной, величаво расплывчатой и значительно большей.

8*

Много широких улиц с садами возле домов, вроде русских палисадников.

Главная улица — Пикадилли — апофеоз английского капитала: колоссальные дома, магазины, множество банкирских контор, богатейших фирм и черт их знает каких предприятий по части эксплуатации и загребания деньжищ.

А Сити, лондонский центр торговли? А Вестэнд, центр аристократии? А королевские и всяческие дворцы? Вот где — золото.

Достаточно взглянуть на гавань Темзы и на гигантские ребра мостов, чтобы понять всю неисчислимую грандиозность средоточия мирового рынка.

Так и кажется, что Лондон — это улей, а британцы — пчелы. И вот со всех концов своих далеких колоний эти пчелы несут чужой мед в ненасытный, бездонный улей.

Лондон высится к небу растущими этажами, уходит туннелями под Темзу и глубже в землю, но все ему мало, ибо мед несут и несут.

Недаром англичане даже табак курят варенный на меду.

Всемирная выставка воздухоплавания — в обширном, роскошном полустеклянном пассаже «Олимпия». Под потолком — дирижабль.

Здесь весь цвет Лондона: лорды, герцоги, графы, бароны, маркизы, сэры, мистеры, миссис, мисс, леди, дэнди.

Много приезжих иностранцев из высших сфер.

Картина исключительной чопорности, важности, напыщенности, чванства, самообольщения и глупости.

И почему, собственно, все эти джентльмены и леди заняты «воздухоплаваньем», никому не известно.

И разглядывают они аэропланы, как коровы пианино.

К их национальной гордости следует добавить, что

английских-то аэропланов на всемирной выставке у них полторы штуки, да и те сконструированы под Райта; их представительствует английское общество авиации «Валкирия».

Разумеется, это шокирует гордых британцев, но они и виду не показывают — не узнаешь.

Зато веселые французы, и особенно Фарман, торжествуют: три четверти аппаратов принадлежат им.

На аэродроме в Гендоне, около Лондона, пустота первоначалия: несколько ангаров и столько же аэропланов французских систем — вот и все.

Аппараты — райты «Валкирии» находятся в стадии пробных полетов.

Пока что на аэродроме больше играют в футбол, и играют, скромно говоря, гениально.

Фарман смеется:

— Вот если бы англичане так летали.

А по-моему, джентльменам летать не идет: уж очень они какие-то бескрылые, холодные, сжатые, будто в корсетах.

Председателем выставки был лорд Чемберлен.

В честь иностранных авиаторов Чемберлен (англичане его называли Шамберлен) устроил почетный обед, на который, благодаря Лебедеву, получил приглашение и я как русский авиатор, хотя еще не авиатор.

Но лорду все равно, а мне интересно, как обедают лорды: никогда не видал.

Ровно в три часа, из минуты в минуту, к парадным дверям коричневого старого особняка сбежалась куча автомобилей.

В темном прохладном вестибюле все снимали пальто молча, торопливо, при помощи лакея.

Налево, в дверях, гостей встречали хозяева — рыжеватый худой высокий лорд и (на него похожая) его супруга.

Мы прошли в гостиную, обширную комнату, где стоял рояль, черные кожаные кресла, резные стулья, на стенах — портреты королей, королев и, очевидно, государственных деятелей.

За стеклянной перегородкой виднелась столовая — длинный накрытый к обеду стол и высокие ожидающие стулья.

В гостиной все мы стояли кучками и тихо, важно говорили.

Лебедев шепнул, что тут есть и министры.

Наконец хозяйка распахнула стеклянную дверь в столовую:

— Плиз ю, джентльмены.

Мы вошли, сели за стол.

Лакей и горничная подавали пищу.

Тут я заметил сквозь цветные стекла другой стены, что рядом с вестибюлем — еще небольшая комната, и там за столом сидела маленькая группа бритых людей и с ними — две дамы.

Мы начали пить виски, ром, коньяк под тосты Чемберлена за процветание международной авиации, открывающей горизонты.

От щедрого, богатого обеда и обильной выпивки все почувствовали себя авиаторами и стали летать на словах фантазии о воздушном будущем.

Обед кончился пудингом, облитым ликером и зажженным.

Мы перешли снова в гостиную; здесь было предложено шампанское, сигары и кофе.

А в это время один за другим из отдельной комнаты стали появляться бритые люди и исполнять номера пения. Кончив, они исчезали под ленивые аплодисменты курящих джентльменов.

Последними пели две артистки, которые тоже исчезли, к сожалению...

Среди нас была только одна дама, да и та — леди Чемберлен.

Я посматривал на всех и думал о Диккенсе: несомненно, мы были одной из глав «Пиквикского клуба» или, по крайней мере, сидели, как на сцене, разыгрывая какую-то странную пьесу.

И «под занавес», после сигар и кофе, все разом поднялись и с удовольствием вышли.

Спектакль «Обед у Чемберлена» кончился.

На улицах зажглись первые огни.

Стало легче, проще, веселее.

Тянуло в Италию.

Проспав на широчайших деревянных кроватях старинного отеля «Сесиль» последнюю лондонскую ночь, мы покинули Англию.

На пути через Ламанш начался отлив — и наш пароход, чуть накренившись, очутился на песках у берегов Франции.

Я, Лебедев и еще несколько спортсменов-американцев спустились по веревочной лестнице и бросились по сырому дну бежать сквозь густой туман к Булоню, ориентируясь на паровозные свистки.

Добравшись, укатили в Париж, где я расстался с Лебедевым, чтобы взглянуть на Италию.

На день остановился в Милане, этом древнем, музейном, застывшем митинге густой массы античных статуй под председательством миланского собора. Даже тихие молящиеся итальянки в Санта-Мария делле Грацие кажутся статуями.

Несмотря на огромность, пышность и претензию казаться современным (над городом летал аэроплан), Милан — паноптикум, музей, наглядное пособие для любителей старины.

Наутро — Рим.

Но столица Италии еще стариннее, хотя убедительнее

по части исторических воспоминаний о Ромуле, о берегах Тибра, о семи холмах, о пожаре при Нероне, о попах в Ватикане, о римском праве, о катакомбах.

Словом, Рим кажется давно знакомым и приятельским городом с явным провинциальным уклоном, как его ловко изображают на русских провинциальных сценах в опере и драме.

Право же, Рим такой и есть.

И торгующие всюду произведеньями «искусства» и бесконечными остатками древностей итальянцы дополняют театральное впечатление, азартно предлагая:

— Бона сера, купите настоящий Рим.

Но Рим все-таки Рим, и никакое игривое состояние путешественника не умалит его исторического достоинства.

Меня музейные города не восхищают более одного дня, и тут ничего не сделаешь, когда дальнейшее пребывание обращается в «суку-скуку».

А вот — Неаполь! Или «посмотри и умри!»

Ну, это совсем иное дело: раз — море, да еще — Неаполитанский залив (одно названье звучит серенадой!), тысячи судов, вдали — дымящийся Везувий, синеющий остров Капри, изумительные окрестности Сорренто, цветистая, как бухарский голубой халат, трепетная гавань и воздух, «дыхание вселенной», — все это сплошное торжество самоцветной, единственной в мире неаполитанской легенды.

Поэты недаром щедро воспели Неаполь, и неаполитанские песни пахнут лазурью и солнцем.

Капри — памятник Максиму Горькому.

Везувий — неостывающая поэма о гибели Помпеи, Геркуланума и Стабии.

Гавань — чудесная быль о том, как моряки, уставшие скитаться по свету, черпают здесь восторженные силы для дальних плаваний.

Неаполь — это и есть распростертые объятия Италии, куда всех так непреодолимо влечет и где всем хватает места для удивлений.

Между прочим, неаполитанские студенты мне рассказывали, что недавно здесь выступали миланские футуристы, которые ратовали за освобождение Италии от бесчисленных музеев и антиквариев, превративших «страну жизни» в археологические кладбища.

Справедливо!

Но что тут общего с нами, русскими футуристами, не понимаю; а расейские «критики» продолжают навязывать нам Маринетти и К°, и вообще наворачивают вздор.

До свиданья, Неаполь!

Надеюсь, мы еще встретимся. Не правда ли?

Пробежал глазами Флоренцию — опять музейный город. Свернул в Венецию.

Ну разумеется, знакомый город: даже улыбаешься, когда смотришь на водяные улицы — каналы с гондолами, на сплошные мосты, на дворцы дожей с «лестницей исполинов», на соборную площадь Марка с обязательными голубями, где обязательно фотографируют путешественников с голубями на плечах.

Голуби знают свою профессию: едва станешь перед фотографом, как дрессированные птицы, приятно обдувая счастливое выражение лица, садятся на плечи.

Для меня это было особенно приятно: запах голубей напоминал детство и дядю Ваню, когда он, как памятник на пьедестале, целые дни стоял на крыше и смотрел в небо.

Венеция — город небольшой, но удивительный по вечерам, при огнях; он кажется вдруг громадным, таинственным, фантастическим; и круговое пенье баркарол под гитары, в гондолах с фонариками, делает жизнь общим карнавалом густой романтики.

Но пора двигаться к цели.

Дальше — Вена.

Столица легкой, сверкающей, брызжущей, как в Париже, жизни, если, конечно, смотреть внешне, поверху, по-кинозрительному, как приходится мне, пролетающей птице, — без раздумья, без углубленья в сущность видимого, ибо для этого нет времени и не этим занят я, рвущийся скорей стать авиатором.

Тем более — над праздничной, нарядной, кружевной, жизнетрепетной красавицей Веной носятся, блестя на солнце, аэропланы. И уличные толпы приветствуют авиаторов платками, зонтиками, шляпами.

Даже великолепные зданья потеряли серьезность и смотрят в небо радостными окнами.

И радуется Дунай, с упоеньем отражая полеты гигантских птиц.

В дивных кофейнях иллюстрированные журналы полны аэропланами.

Головы всего человечества подняты к небу и застыли в удивлении перед завоеванием воздушного пространства.

Каждый день приносит новые рекорды, новые достижения и новые смерти неустрашимых героев.

У меня дух захватывает, когда слышу гуденье летящего аппарата: почему — не я, а другой счастливец.

Скорей же к цели!

Гоню в Берлин.

Гоню в Петербург.

Авиаторская жизнь

Повезло!

Благодаря дружбе с авиатором В. А. Лебедевым, который теперь был директором большого Петербургского товарищества авиации, мне удалось приобрести аэроплан «блерио».

Я перевез аппарат на гатчинский аэродром для тренировки, арендовал ангар.

В Петербурге поселился на совместной квартире с Аркадием Аверченко, на улице Гоголя, около ресторана «Вена», любимого местопребывания всех писателей, художников, артистов, композиторов, адвокатов.

Было начало лета, и все мои друзья футуристы разъехались по домам.

Целые дни я проводил в Гатчине.

У меня для «блерио» инструктора не было (обещал приехать Лебедев, но он на «блерио» не летал, да так и не приехал), и пришлось мне на собственный риск взяться за ученье совершенно самостоятельно.

Сначала я рулировал, бегая по аэродрому с поднятым хвостом аэроплана.

Потом, наконец, решил взять руль на себя и вот, разогнавшись, взял: аэроплан незаметно поднялся и пошел неровно, то и дело норовя качнуться в роковую сторону.

Тут я мигом понял, что нужна величайшая выдержанность и моментальная находчивость: ведь чуть потерялся — и аппарат грохнется.

Не жизни жаль, а — разобьется прекрасная машина.

Я выровнял руль, дал к земле, выключил контакт и чисто спланировал.

Слышу легкий звенящий толчок шасси. Колеса бегут по поляне.

Стоп!

Замираю от счастья...

О, пусть авиаторы ставят рекорды высоты, пусть летают черт знает как головокружительно, пусть получают тысячные призы — я им не завидую, нет!

Этот маленький мой первый полет, моя воздушная дерзость, мой чистокровный риск и удачный спуск — это такой величайший праздник моей жизни, такая личная победа, что, право, не забыть этого никогда во веки веков.

Правда, отсюда еще далеко, высоко до настоящего авиатора, но то, что произошло, легендарно, неповторимо.

И по тому времени первых лет авиации — чудо, если вспомнить о том, какие тогда были несовершенные аэропланы, неустойчивые, жидкие «блерио».

А мой «блерио» — даже истрепанный.

И еще: я совершил полет без инструктора, полагаясь на небольшой запас технических знаний.

Словом, я соскочил с аппарата баснословным счастливцем.

Несколько сторожей и рабочих при ангарах (они же и аппарат перед полетом держали, ожидая знака поднятой руки — «отпускай!»), эти единственные свидетели моего начала, поздравили с успехом.

Я вернулся домой, в Петербург, именинником, сразу влетел в комнату работавшего Аркадия Аверченко и ему первому поведал восторги.

Аверченко прокричал «ура», схватил с полки свою новую книгу рассказов, подписал: «От земного Аркадия — небесному Василию», подарил с объятиями, и мы отправились в «Вену» справить торжество.

Едва чокнулись перед устрицами, подвалили сатириконцы: развеселый Алексей Радаков с бакенбардами Пушкина, долговязый черный Ре-ми, европеец Яковлев, всегда всклокоченный, «точно с постели сброшенный» поэт В. Воинов, тихий, но острый, как шило, В. Князев и совсем тихий, флегматичный Саша Черный.

Перед сном Аверченко прошептал:

— В этот час все желают друг другу спокойной ночи. Ничего подобного, я прошу, в случае смертельного паденья с аэроплана, черкнуть мне открытку с того света: не пожелают ли там подписаться на «Сатирикон».

Я обещал.

А утром, чуть свет, был в Гатчине.

В эту тихую, безветренную погоду хорошо тренироваться — так делают все авиаторы.

С трепетом влюбленного я смотрел на свою красавицу птицу, осторожно выводил из ангара на аэродром, пробовал мотор, несколько раз снова бегал на «блерио» по широким полянам и теперь, более уверенный, взлетал, делал виражи и садился благополучно.

Торжествовал.

Вскоре после восхода солнца начинался обычный ветер, полеты прекращались до вечера, когда опять стихало.

В один из вечеров случилась авария: я поднялся, полетел и начал опускаться, как вдруг впереди на поляне появилась лошадь с телегой.

Я сделал крутой поворот и треснулся об землю, сломав хвост «блерио» и поцарапав себе ноги до обильной крови.

Ко мне бросились другие ученики-авиаторы, рабочие, сторожа и помогли выбраться из машины.

Но скоро я отремонтировал аппарат и ноги и уехал с «блерио» в Пермь, на берег Камы, к Нижним Курьям.

Пермь впервые от сотворения мира увидела аэроплан.

Собиралось много народу смотреть на диковину, иные просили разрешения пощупать, потрогать, понюхать.

Обмелевшая Кама обнажила полотна песков, и я использовал этот прибрежный аэродром для дальнейшей тренировки: летал возле берега.

И обязательно старался пролететь мимо идущего парохода — тогда все пассажиры бросались со страху в каюты, палуба пустела, а меня это очень забавляло.

Однако пора было подумать о серьезных полетах на настоящем аэродроме, чтобы сдать экзамен на пилота-авиатора.

Я списался с Варшавой и, захватив «блерио», уехал туда.

В Варшаве при аэродроме был большой авиационный завод «Авиата» и там же — группа известных авиаторов.

Это меня отлично устраивало.

Да и Варшава — великолепный город.

Здесь сразу все пошло по-серьезному, по-деловому, как требуется.

Авиационный завод Любомирского с большими ангарами внутри двора, а откроешь ворота — громадный аэродром, Мокотовское поле.

Превосходные авиаторы: Х. Н. Славоросов, Янковский, Кампо-Сципио, Сегно, Супневский, Лерхе.

Аппараты: «фарман», «блерио» и новые — австрийской системы — монопланы Таубе.

Среди авиаторов Славоросов — самый замечательный (позже он приобрел за границей имя мирового летчика), самый талантливый рекордист.

Интересно, что этот Славоросов поступил сначала простым рабочим на «Авиату», а потом сразу выдвинулся под облака.

Славоросова я и избрал своим учителем-инструктором для подготовки к сдаче трудного экзамена на получение диплома пилота-авиатора.

Вследствие частых воздушных катастроф теперь были выработаны новые, строгие международные правила для авиаторов, и, значит, надо было действовать энергично, решительно.

Кроме меня, было еще семь начинающих.

Здесь, на Мокотовском аэродроме, текла совсем особенная, своя воздушная жизнь.

Целые дни — среди аэропланов.

В глазах — взлетающие аппараты. В ушах — музыка моторов. В носу — запах бензина и отработанного масла. В карманах — изолировочные ленты.

В мечтах — будущие полеты.

О возможных катастрофах никто не говорил.

Впрочем, каждый думал, что это не его касается.

Шутили:

— Если ты сегодня собираешься разбиться вдребезги, дай мне 50 рублей взаймы.

При заводской конторе была у нас авиаторская комната, где стояло пианино: в ожидании очередных полетов почти все играли и насвистывали самые легкомысленные мотивы модных оперетт.

Славоросов и я были особенными музыкантами циркового стиля: он прекрасно играл на одной струне, натянутой на палку через сигарную коробку, а я — на гармошке, с которой не разлучался.

Вообще авиаторы на земле веселились, как школьники, но едва прикасались к аэроплану — наступало перерожденье: лица отражали сосредоточенную волю, короткие движенья — решительность, скупые, спокойные слова — хладнокровие, выдержку.

Первое время я тренировался на своем «блерио», но потом, по предложению и по техническим указаниям Славоросова, перешел на австрийский моноплан Таубе, с мотором Даймлера.

После большого пробного самостоятельного полета, после моего жидкого «блерио» крупный моноплан Таубе показался солидным и ровным в устойчивости настолько, что с этих пор я стал летать — и очень удачно — на «таубе».

Наконец к нам прибыла экзаменационная комиссия во главе со специально приехавшим из Петербурга известным теоретиком авиации Евг. Вейгелиным, представителем Всероссийского аэроклуба. (Он жив-здоров и сейчас и еще недавно много писал в «Красной газете» о ходе красинской экспедиции.)

И вот настало тяжелое утро, когда взволновалось

сердце мое: надо было показать себя настоящим, профессиональным мастером авиации.

Строгая, научная пунктуальность знатока-теоретика Вейгелина известна.

Профессор-экзаменатор, под контролем и наблюденьем комиссии, должен был, сидя на извозчике, сигнальными флажками давать мне с земли знаки выполнения требований международных правил.

Я поднялся на «таубе» и, глядя с аэроплана на крошечную лошадь с экипажем, начал одну за другой проделывать восьмерки, все время продолжая следить за сигналами красных флажков.

Летал долго и думал: лишь бы не сдрейфил изношенный мотор.

Но мотор вынес, работал, как и я, исправно, честно, и, наконец, я увидел: сигнализируют дать высоту и планированье с выключенным мотором.

Я исполнил все по совести и хорошо спланировал — прямо к извозчику Вейгелина.

Вейгелин пожал мою руку:

— Поздравляю со званием международного пилота-авиатора.

Поздравили авиаторы, комиссия и рабочие с нашего завода.

Я расцеловал своего учителя Славоросова, как готов был расцеловать весь мир.

С неба на землю

За это и любил жизнь, что она не стояла на месте, а шла с солнцем в руках, отмеривая полные, точные шаги, которые мы называем днями.

Ну и отлично!

Я сидел за кофе в варшавской цукерне на Иеруса-

ВЗЯЛ

БАРАБАН ФУТУРИСТОВ ДЕКАБРЬ 1915

В. Маяковскій.

Вам которые в тылу.

Вам проживающим за оргией оргию
Имѣющим ванную и теплый клозет
Как вам не стыдно о представленных Георгію
Вычитывать из столбцов газет

Вот вы прохвосты бездарные многіе
Все думаете нажраться лучше как
А может быть сейчас бомбой ноги
Выдрало у Петрова поручика.

Если бы он . . . .
Вдруг увидѣл израненный
Как вы измазанной в котлетѣ губой!
Похотливо напѣваете Сѣверянина.

Вам ли любящим баб да блюда
Жизнь отдавать в угоду
Я лучше в барѣ б . . . буду
Подавать ананасную воду

Первая страница журнала-альманаха «Взял». Декабрь 1915 года.



Максимъ Горькій

— О футуризмѣ.

[illegible]

Русскаго футуризма нѣтъ. Есть просто Игорь Сѣверянинъ, Маяковскій, Бурлюкъ, В. Каменскій. Среди нихъ есть несомнѣнно талантливые люди, которые въ будущемъ, отбросивъ плевелы, вырастутъ въ опредѣленную величину. Они мало знаютъ, мало видѣли, но они несомнѣнно возьмутся за разумъ, начнутъ работать, учиться. Ихъ много ругаютъ и это несомнѣнно огромная ошибка. Не ругать ихъ нужно, къ нимъ нужно просто тепло подойти, ибо даже въ этомъ крикѣ, въ этой ругани есть хорошее: они молоды, у нихъ нѣтъ застоя, они хотятъ новаго свѣжаго слова, и это достоинство несомнѣнное.

Достоинство еще въ другомъ: искусство должно быть вынесено на улицу, въ народъ, въ толпу, и это они дѣлаютъ, правда, очень уродливо, но это простить можно. Они молоды... молоды.

Вспомнимъ нашихъ крупныхъ, а теперь уже заслуженныхъ, поэтовъ В. Брюсова и Бальмонта 15 лѣтъ тому назадъ.

Въ Россіи несомнѣнно нѣтъ футуризма того настоящаго, родоначальникомъ котораго является итальянскій футуризмъ съ представителемъ Маринетти. Сочный, одаренный художникъ сжигаетъ шаблоны итальянской старины. Вы знаете: тамъ давитъ музеи, величавая архи-тура, -давние источники культуры и мысл уже отжившие. Нужно уйти изъ-подъ громоз сводовъ, нужно вылупиться изъ этой оболоч Маринетти силою своего таланта и красокъ заражаетъ молодежь и ведетъ ее къ несо ному ледоходу. Его не остановить. А у насъ въ Россіи, у насъ нѣтъ террора старины, она не давитъ.

· · · · · ·

И всѣ они, этотъ хороводъ галдящихъ, шихъ и именующихъ себя почему-то футури сдѣлаютъ свое маленькое, — а можетъ и больш дѣло, которое очевидно дастъ всходы: крикъ, пусть ругань, пусть угаръ, но толь молчаніе, мертвое леденящее молчаніе.

Трудно сказать, во что они выльются, хочется вѣрить, что это будутъ новые, молоды жие голоса. Мы ихъ ждемъ, мы ихъ хотимъ

Ихъ породила сама жизнь, наши соврем условія. Они не выкидыши, они во время ро ные ребята.

Я только недавно увидѣлъ ихъ вперв вымы, настоящими и, знаете, футуристы не так страшны, какими выдаютъ себя и какъ ра вываетъ ихъ критика.

Вотъ возьмите для примѣра Маяковска молодъ, ему всего 20 лѣтъ, онъ крикли обузданъ, но у него несомнѣнно гдѣ-то по



Сумерки

I.

То, что происходитъ сейчасъ не только шей русской литературѣ, но и во всѣхъ турахъ Европы, приходится назвать прих цомъ героическаго періода литературы и нача ну хотя-бы семейнаго.

Другими словами: литература, какъ „вы искусство, завершилась. Циклъ ея развити денъ. Вся она цѣликомъ въ прошломъ. греков завершилась скульптура и съ тѣхъ какъ обезбоженъ Олимпъ, не можетъ быт наго Фидія, великаго Праксителя, великаго Пол а могутъ быть только болѣе или менѣе укра украшатели салоновъ и спаленъ — такъ и слѣдники Достоевскаго, наслѣдники Шекс Данте — видимъ кругъ писательства заверше и только по старинной привычкѣ требуе литературныхъ откровеній, тогда какъ

Статья А. М. Горького «О футуризме» в «Журнале журналов». 1915.

лимской и, перелистывая журналы, спокойно улыбался: там, в пестроте иллюстраций, видел себя и подпись: «Пилот-авиатор Василий Каменский перед полетом».

О жизнь-панорама!

Думал: почему же не сняли меня, когда я спал в дубовом гробу?

Или — когда сидел в николаевской одиночке?

Или...

Впрочем, не надо пятиться.

Время идет торопливо.

Теперь было такое: почти все авиаторы разъехались по заграницам.

На Мокотовском аэродроме осталось двое: Славоросов и я.

Славоросов собирался тоже на заграничные авиационные состязания и поэтому летал — тренировался, как дьявол, забираясь под облака.

Много летал над Варшавой и я, разглядывая с высоты убегающую ленту Вислы и карточные домики.

Весной на прощанье мы устроили «открытие весеннего авиационного сезона», собрав массу зрителей.

На другой день телеграммы всех газет России извещали о «замечательных по красоте и смелости» наших полетах.

Да, это были действительно исключительного мастерства полеты Славоросова, ну а я слегка тянулся за учителем, как мальчик за папой.

Ни к каким рекордам я и не мог стремиться, так как мой аэроплан для этого не годился.

И вообще не в моих правилах жизни было гоняться за славой, которую не ценил никогда, предпочитая иные ценности.

В данном случае я был упорно горд, что достиг своей цели — сумел стать пилотом-авиатором, в чем дал клятву Бурлюкам и Хлебникову, верующим в силы мои.

После весенних полетов (немало перекатали воздушных пассажиров) мы оставили Варшаву.

Славоросов уехал состязаться за границу.

А я взял свой «блерио» и поехал совершать полеты в польских городах, где еще не видали аэропланов.

Сначала все шло хорошо: летал в Калише, Сосновицах, собирая уйму публики.

В Петрокове ломились беговые трибуны от напора народа, и там, во время моего полета, ахнул проливной дождь.

Аппарат стало давить обильной водой — я едва справился с ним, с трудом сел на беговую дорожку.

29 апреля 1912 года был объявлен мой полет в Ченстохове: здесь также еще не видали «летающих людей».

Громадный город, в 150 тысяч населения, проявил необычайный интерес к воздушному событию.

Поэтому пришлось выбрать большое место при перегрузочной станции Герб-Келецкой железной дороги, за городской скотобойней.

К началу полета, к 5 часам вечера, повалила густая лава народу.

Место «аэродрома» было обтянуто канатами, которые охраняли конные войска.

Как обычно, прибыл губернатор со свитой.

Полицеймейстер верхом на вороном коне наводил порядок.

Играли два оркестра музыки.

Надо сказать, что 40 процентов со сбора я «жертвовал» пожарным дружинам и детским приютам — пополам.

Поэтому пожарные явились в парадных формах и медных блестящих касках.

Крыши окраинных домов были усеяны публикой.

Кругом — стена народа.

Словом, картина широкого массового торжества.

Я — посредине «аэродрома» с «блерио».

Тут же механик и четверо рабочих, чтобы держать аппарат во время предварительной работы мотора.

И вдруг... ветер, сильный ветер. Небо — в тучах.

Рабочие с механиком схватились за крылья.

Я, скрежеща зубами от злости, решил переждать, но подъехал полицеймейстер, заявил:

— В городе несчастья: люди падают с крыш или проваливаются. Губернатор приказал лететь вам сейчас или отменить полет.

Что делать?

Отменить нельзя: в следующее воскресенье назначен полет в Вильно, заарендованы бега, внесена тысяча рублей, выпущены афиши.

На беду блеснула молния, грянул гром.

Ветер усилился.

Я решил лететь, вскочил на аэроплан.

Механик — к пропеллеру. Рабочие — за корпус.

— Контакт есть?

— Есть.

Дал знак отпустить и полетел против ветра.

В публике раздался рев восторга и полетели шапки, платки.

«Блерио» легко взмыл под ветер, но выше стало так болтать, трепать, швырять мой жидкий аэроплан, что спасенья не предвиделось.

Я стиснул зубы, сжался в комок, удесятерил волю, всячески регулировал, выравнивал.

Но все напрасно: на вираже под крыло ударил порыв вихря — я перевернулся с аппаратом на большой высоте.

Мотор перестал работать.

Ждала смерть.

Объял холод беспомощности, а в голове мгновеньями,

как искры, вспыхивали картины детства: Кама, пароходы, лодки, собаки, лес...

И тут же сознанье, что я — один, чужой и ровно никому не нужен здесь...

Все это путалось, металось, и в первый и единственный раз я пожалел себя...

Дальше сковал леденящий холод, я закрыл глаза и грохнулся...

В бессознательном состоянии, разбитого, меня увезли в больницу.

Только через одиннадцать часов кончился мой обморок.

Я открыл глаза и не понял сразу, что происходит: лежу в большой белой комнате, а у окна стоят два человека в сюртуках и смотрят в окно на большую грозу.

Зачем все это, откуда? Кто?

И когда почувствовал страшную боль во всем организме и ощутил сплошные, тугие бинты, понял, вспомнил, крикнул:

— Доктор!

Доктора бросились к кровати, сели возле и стали успокаивать, что все скоро пройдет, что я сильный, крепкий и вообще хороший человек.

Из докторских рассказов узнал, что меня спасла болотная вонючая грязь, куда я упал.

Что у меня, кроме правой руки, левой ноги, проломленного затылка, рассеченной губы и треснутой ключицы, все благополучно.

Что какой-то присяжный поверенный держал пари на сто рублей и дюжину пива за мое «воскресенье из мертвых».

Что у больницы всю ночь, несмотря на грозу, дежурила большая толпа простого народа.

Что из Варшавы прибыли корреспонденты для описания катастрофы.

Что весь Ченстохов обрадуется, узнав о моем возвращении к дальнейшей жизни.

Через несколько дней мне стало совсем хорошо и даже интересно: от Всероссийского аэроклуба, от «Авиаты», от авиаторов, от приятелей и неизвестных лиц я получил нежные телеграммы.

Всюду в газетах России сообщали о моем страшном паденье.

Доктора на минуту открыли дверь в соседнюю комнату: там виднелись корзины цветов с лентами.

Мой механик пришел в больницу сообщить, что щепки от разбитого аэроплана публика растащила на память, что мотор цел и, главное, сбор был колоссальный.

Этот же механик дал прочитать мне некрологи из двух местных газет (газеты печатались в ночь катастрофы, когда я лежал в обмороке безнадежности), где крупно было написано: «Погиб знаменитый летчик и талантливый поэт Василий Каменский».

В статьях меня возносили до гениальности, явно рассчитывая, что я не воскресну.

В конце ослепительных некрологов курсивом печаталось, что во время падения в публике случилось двадцать три дамских обморока.

Словом, вся эта история принесла мне такую массу приятного, что я быстро стал поправляться, удивляя врачей.

Однако доктора советовали уехать куда-нибудь в тихую лесную глушь, чтобы там освободиться от потрясенья.

Так и сделал.

Но прежде я отремонтировал свой «блерио» и, захватив его, уехал в Пермь.

Где жить и как?

Я любил свой уральский край и давно мечтал обосноваться где-нибудь в лесной деревне, где мог бы жить

каждое лето, где мог бы рыбачить, охотиться, работать по литературе и сельскому хозяйству: ведь у меня были знания агронома.

Вообще меня, действительно потрясенного, нестерпимо, магически потянуло к земле, к здоровью, к солнцу, к зверью, к птицам, к деревне.

На земской тройке с колокольчиками погнал по Сибирскому тракту, свернул на Насадский и здесь, в сорока верстах от Перми, приобрел землю с полями, лугами, речкой Каменкой, горным лесом.

Так родился хутор Каменка.

Каменка. Маяковский

Хо-хо! Отныне я стал чувствовать себя самым настоящим, заправским Робинзоном Крузо и Степаном Разиным в Жигулевских горах.

Земля — изумительная вещь, но на земле надо строиться, надо с толком организовать сельское хозяйство.

А на Каменке только земля, лесная горная глушь и никаких построек.

Пока что я поселился в ближайшей, в двух верстах от Каменки, деревне Шадрино и с упорным усердием взялся за строительство «жизни на земле»: купил срубы для дома, бани, конюшен; купил лошадь, телегу и комплект земледельческих орудий.

Нанял плотников и в качестве «архитектора» сам руководил стройкой по собственным чертежам, и для первого опыта сделал баню так, как здешние крестьяне не делают; у них бани черные, без печи, без предбанника, без трубы даже, а просто под камнями разжигают дрова, накаляя камни, чтобы после, поддавая воды, нагнать пару-жару.

И конюшни строил не по-крестьянски — с окнами, с вытяжными трубами, теплые.

Разумеется, и дом по-культурному, — с удобными светлыми комнатами, крутой крышей, но дом простой, бревенчатый, и поставил его прямо в сосновом лесу, в полгоре, перед речкой, без всякой ограды.

Сам взялся за плуг — и это было новостью для крестьян, так как они пахали сохами.

Работы было неисчерпаемо.

Сам расчищал лес, планировал поля на многополье, возился с бревнами, обдумывал.

Топор не выходил из рук.

Отдыхал на охоте: глухари, рябчики, зайцы, тетерки, вальдшнепы, утки — вся эта роскошь жила под самым боком.

И тут же: куницы, лисицы, хорьки, белки. Иногда появлялись медведи.

Пахал, боронил; посеял пшеницу, ячмень, овес с клевером.

Поселился в новом доме.

Занялся литературой: начал писать роман «Стенька Разин» и снова взялся за стихи.

Работал над картинами.

Рыбачил, читал, горел солнцем вокруг.

Лето катилось кумачовым шаром молодости.

По праздникам разгуливал с деревенскими ребятами, играл на гармонике с колокольцами.

Крестьяне шутили:

— Ты, Василий, распрекрасно играешь на гармошке, так что мы решили тебя выбрать в Государственную думу.

К сенокосу приехал ко мне гостить брат детства Алеша.

Когда вместе косили, я убедил Алешу бросить аптеку, где он работал помощником провизора, и сообща за-

няться Каменкой, но так, чтобы мы целиком вели хозяйство сами, без батраков, как обыкновенные крестьяне.

На этом и остановились, ибо оба любили деревню, природу, рыбатство, охоту.

И любили энергично трудиться.

На первых порах не очень-то легко было нам, интеллигентам, возиться с землей, налаживать хозяйство, вникать в каждую мелочь, ну а все-таки скоро ориентировались, привыкли, приземлились плотно, с удовольствием.

Строили новую долю.

Пахло Робинзоном, детством, «землянкой», сосновым весельем, разинскими стихами, сотворением мира.

Мы бегали, прыгали не меньше своих любимых собак, и даже лаяли от приливающих восторгов.

Жить в новом доме, дышать смоляной свежестью обструганного дерева, слышать в распахнутые окна сочное пенье птиц, видеть кирпичные стволы стройных сосен, ощущать в гостях сплошное солнце (день длился двадцать два часа), радоваться каждой минуте жизни, пребывать в неисчерпаемом энтузиазме — это ли не великолепие бытия!

Что еще надо?

Ровно ничего, ни капли.

И так чаша изобилия дней, насыщенных пройденными и пролетанными дорогами, переполнена.

На косяке моей библиотечной комнаты висит просаленная, бывалая авиаторская каска — она одна может немало рассказать, как приехала из Парижа и что повидала, чтобы успокоиться на Каменке, в лесной глуши.

Только покой от меня далек: кажется, я вчера лишь родился по-настоящему и вот начинаю жить и познавать мудрость новорожденья.

И весь мир представляется таким же юным, новым, начинающим.

И такими же младенцами современности — мои

друзья футуристы, с которыми связь стальной дружбы крепила на вечность будущие встречи и дела.

С чугунолитейным Давидом Бурлюком мы не переставали переписываться: он держал меня в полном курсе футуристического возрастающего движенья, ожидал меня к осени в Москву, где теперь учился в школе живописи и ваяния, на Мясницкой.

Давид Бурлюк, как корабль на рейде, стоял на посту футуризма и ждал нашего приплытия для активного выхода в бой.

Он писал мне:

Приезжай скорей, чтобы ударить с новой силой «Сарынь на кичку!». Пора. Прибыли и записались новые борцы — Володя Маяковский и А. Крученых. Эти два очень надежные. Особливо Маяковский, который учится в школе живописи вместе со мной. Этот взбалмошный юноша — большой задира, но достаточно остроумен, а иногда сверх. Дитя природы, как ты и мы все. Увидишь. Он жаждет с тобой встретиться и побеседовать об авиации, стихах и прочем футуризме. Находится Маяковский при мне постоянно и начинает писать хорошие стихи. Дикий самородок, горит самоуверенностью. Я внушил ему, что он — молодой Джек Лондон. Очень доволен. Приручил вполне, стал послушным: рвется на пьедестал борьбы. Необходимо скоро действовать. Бурно! Крученых с Хлебниковым на Песочной, у Матюшиных, Петербурге. Там же Бенедикт Лившиц и Коля. Брат Володя Пензе, учится живописи. Питере гремит Игорь Северянин. Слыхал? Вези «Разина». Торопись. Ждем немедленно. Лети курьерским.

Д. Бурлюк.

Чай футуристов

Пригнал в Москву и прямо — к Давиду.

Бурлюк жил в переулке, около Мясницкой.

Ветром влетел в комнату: всюду картины в беспорядке, пахло свежими красками, на столе — горячий самовар, закуска на бумажках и каравай ситного.

Весело. Аппетитно.

За столом двое: Бурлюк в малиновом жилете и худой, черноватый, с выразительными глазами юноша, в блестящем цилиндре набекрень, но одет неважнецки.

Встретились шумно, отчаянно и нервно до слез: давно не видались.

Бурлюк басил дьяконски:

— Это и есть Владим Владимыч Маяковский, поэт-футурист, художник и вообще замечательный молодой человек. Мы пьем чай и читаем стихи.

Маяковский мне сначала показался скромным, даже застенчивым, когда Бурлюк перечислял его футуристические способности поэта; но едва он кончил акафист, как юноша вскочил, выпрямился в телеграфный столб и, шагая по комнате, начал бархатным басом читать свои стихи и дальше декламировал тенором, размахивая неуклюже длинными руками:

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
Любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
К сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
Горели серьги якорей.

Я, конечно, оценил и любезность, и несомненную одаренность восемнадцатилетнего поэта.

И тут же подметил влияние учителя — Бурлюка.

Давид смотрел на Маяковского в лорнет с любовной гордостью, перекидывая глаз на меня, и гоготал, дрыгая малиновым животом.

Вообще в Бурлюке жило великое качество: находить талантливейших учеников, поэтов и художников, и заряжать их своими глубокими знаниями подлинного, превосходного новатора-педагога, мастера искусства.

Только Давид Бурлюк умел, сидя за веселым чаем,

как бы между прочим, давать незабываемо важные теоретические, технические, формальные указания, направляя таким незаметным, но верным способом работу.

Легко, остро, парадоксально, убедительно лилась речь Бурлюка, отца российского футуризма, об идеях и задачах нашего движения.

Мы отлично сознавали, что футуризм — понятие большой широты, как океан. И мы не должны замыкаться лишь в берегах искусства, отделяя себя от жизни.

— Мы есть люди нового, современного человечества, — говорил Бурлюк, — мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего; и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюхо буржуазии-мещан-обывателей. Мы, революционеры искусства, обязаны втесаться в жизнь улиц и площадей, мы всюду должны нести протест и клич «Сарынь на кичку!» Нашим наслажденьем должно быть отныне эпатированье буржуазии. Пусть цилиндр Маяковского и наши пестрые одежды будут противны обывателям. Больше издевательства над мещанской сволочью! Мы должны разрисовать свои лица, а в петлицы, вместо роз, вдеть крестьянские деревянные ложки. В таком виде мы пойдем гулять по Кузнецкому и станем читать стихи в толпе. Нам нечего бояться насмешек идиотов и свирепых морд отцов тихих семейств; за нами стена молодежи, чующей, понимающей искусство молодости, наш героический пафос носителей нового мироощущения, наш вызов. Со времени первых выступлений в 1909-м, 10-м годах, вооруженные первой книгой «Садок Судей», выставками и столкновеньями с околоточными старой дребедени, мы теперь выросли, умножились и будем действовать активно, по-футуристски. От нас ждут дела. Пора, друзья, за копья!

Дальнейший чай продолжался в большой аудитории Политехнического музея, где было наше лекционное выступление: Бурлюка, Маяковского, Каменского.

Едва вышли афиши по Москве, возвестившие о нашем вечере, билеты взяли нарасхват.

На улицах стояли толпы перед афишами и читали:

ДАВИД БУРЛЮК
прочтет доклад
КУБИЗМ И ФУТУРИЗМ

Причина непонимания зрителем современной живописи. Провокация критики. Что такое искусство? Европа и Россия в живописи. Линия. Краска. Поверхность. Понятие фактуры. Кубизм как учение о поверхности. Футуризм.

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
прочтет доклад
АЭРОПЛАНЫ И ПОЭЗИЯ ФУТУРИСТОВ

О влиянии технических изобретений на современную поэзию. Рейсы гигантов-пароходов, пробеги автомобилей, пролеты аэропланов, сокращая землю, дают новое представление о современном мире. Новый человек. Новая форма жизни. Новые понятия о красоте. Аэропланы, моторы, пропеллеры, автомобили, кино, культура — в стихах футуристов. Словострой мастерства.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
прочтет доклад
ДОСТИЖЕНИЯ ФУТУРИЗМА

Квазимодо. Критика. Вульгарность. Мы — в микроскопах науки. Город — дирижер. Группировка художественных сект. Достижения футуризма сегодня. Русские футуристы: Д. Бурлюк, Василий Каменский, Игорь Северянин, Хлебников, Н. Бурлюк, Крученых, В. Лившиц. Различие в достижениях, позволяющее говорить о силе каждого. Идея футуризма как ценный вклад в идущую историю человечества.

ДАВИД БУРЛЮК
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
будут читать свои стихи.

Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осаждала штурмом входы.

Усиленный наряд конной полиции «водворял порядок».

Шум. Крики. Давка.

Подобного зрелища до нас писатели никогда не видали и видеть не могли, так как с толпой, с массой связаны не были, пребывая в одиночестве кабинетов.

В совершенно переполненном зале аудитории гудело праздничное, разгульное состояние молодых умов. Чувствовался сухой порох дружественной части и злые усмешки враждебного лагеря.

Перед выходом нашим на эстраду сторож принес поднос с двадцатью стаканами чая.

Даже горячий чай аудитория встретила горячими аплодисментами.

А когда вышли мы (Маяковский — в желтом распашоне, в цилиндре на затылке, Бурлюк — в сюртуке и желтом жилете, с расписным лицом, я — с желтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу), когда прежде всего сели пить чай, аудитория гремела, шумела, орала, свистала, вставала, садилась, хлопала в ладоши, веселилась.

Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбудораженный ад, не знала, что делать.

Какая-то девица крикнула:

— Тоже хочу чаю!

Я любезно поднес при общем одобрении.

Наконец я начал:

— Мы, гениальные дети современности, пришли к вам в гости, чтобы на чашу весов действительности положить свое слово футуризма...

Дальше, согласно программе и не согласно, говорил что требовалось от футуриста, раскрывающего основные

идеи нашего движения, поднятого в 1909 году в Петербурге и позже утвержденного нашей «Пощечиной общественному вкусу».

Мне кричали:

— А почему у вас на лбу аэроплан?

Отвечал:

— Это знак всемирной динамики.

Я развивал мысль о том, что мы — первые поэты в мире, которые не ограничиваются печатаньем стихов для книжных магазинов, а несут свое новое искусство в массы, на улицу, на площади, на эстрады, желая широко демократизировать свое мастерство и тем украсить, орадостить, окрылить самую жизнь, замызганную, изгаженную буржуазно-мещанской пошлостью, мерзостью запустенья, глупостью, отсталостью, невежеством и мертвецким смрадом старого «искусства богадельни». И это в наше динамическое время, когда мы пережили революцию, когда над головами дрожит воздух, провинченный аэропланами, когда мы все полны ощущения мирового динамизма, когда современность всем нам диктует быть новыми людьми и по-новому понимать жизнь и искусство.

Мне кричали:

— Вы поете песни Маринетти!

Отвечал:

— Вздор! Провокация! Маринетти главный удар направляет против музеев Италии, а мы свой Политехнический музей приветствуем! (Гром аплодисментов.) Я был в Италии и понимаю бунт итальянских футуристов: там лучшие города превращены в сплошные кладбища музеев, паноптикумов, антикварных лавок; там торгуют античной тысячелетней историей, там могилами прошлого задавлена современность. Вот откуда — из катакомб Рима — несутся песни Маринетти, желающего разрушить музеи и библиотеки, прославляющего войну как единст-

венную гигиену мира. А мы никакой войны между народами не желаем! (Крики: «Правильно!») Мы поем свои собственные песни о торжестве современности над рухлядью обывательского безотрадного бытия. Мы с удовольствием отпеваем покойников дохлого искусства уездной России. Мы — поэты-футуристы, живые, трепетные, сегодняшние, работающие, как моторы, во имя энтузиазма молодости и во славу футуризма; мы будем очень счастливы вооружить вас, друзья современности, своими великолепными идеями. (Грохот ладош. Крики: «Да здравствует футуризм!» Из первых рядов — шипенье, цоканье. Снова крики: «Долой футуризм! Довольно!» Свистки, заглушаемые бурей аплодисментов. Сумбурное сражение меж молодежью с боков и галерки и публикой партера.)

Дальше выступил Маяковский, проглотив разом стакан чаю перед началом:

— Вы знаете, что такое красота? Вы думаете — это розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк? Так изображают красоту на картинах старики-передвижники.

Крики:

— Не учите! Довольно!

— Браво! Продолжайте!

— И почему вы одеты в желтую кофту?

Маяковский спокойно:

— Чтобы не походить на вас. (Аплодисменты.) Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, как берем за глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. Что такое красота? По-нашему, это — живая жизнь городской массы, это — улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы пла-

точками, а это — современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещан и кретинов.

Крик:

— А вы кого изображаете в микроскопах?

Маяковский:

— Мы ни в какие микроскопы не влазим. (Смех. Хлопки. Шум.)

Поэт говорит дальше о взаимоотношении сил современной жизни, о разделе классовых интересов и в связи с этим о группировках «художественных» обособленных сект, которые давят друг на друга своей жуткой бездарностью, вульгарностью, «половым бессилием».

Крик:

— А вы не страдаете?

Маяковский:

— Не судите, милый, по себе. (Смех.) Только футуризм вас вылечит. (Смех. Хлопки.)

Оратор утверждает, что возрастающее движенье футуризма сдвинуло жизнь, что в борьбе с буржуазно-мещанскими взглядами на жизнь и искусство футуристы остались и останутся победителями, что отныне влияние футуризма вошло в сознанье каждого современного человека, что до сих пор никакого влияния на общество прежние писатели не оказывали, что декадентские стихи разных бальмонтов со строками:

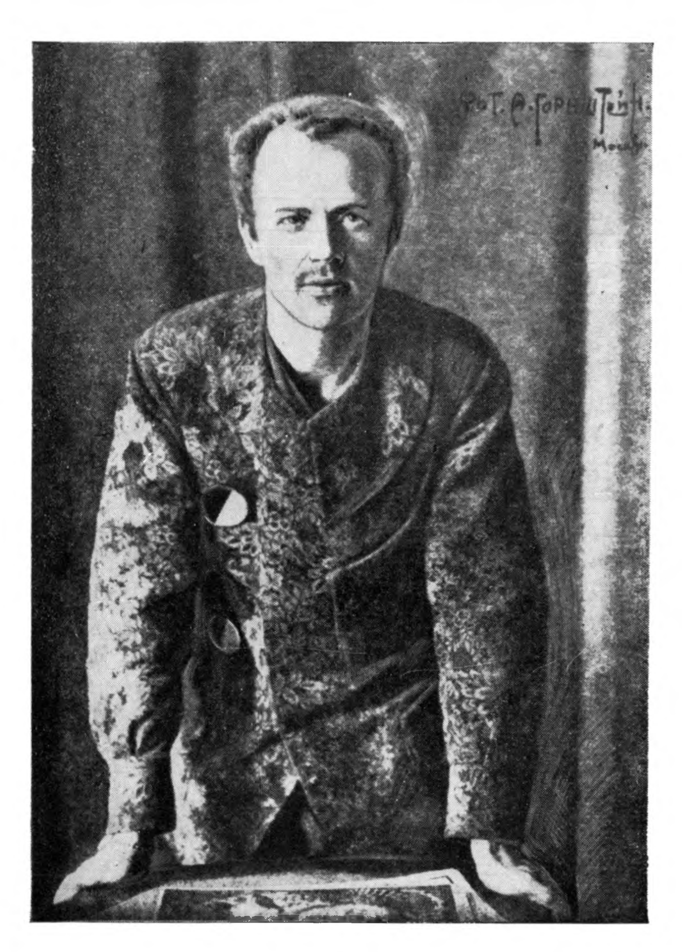
Любите, любите, любите, любите,
Любите, любите любовь —

просто идиотство и тупость.

Крик:

— А вы лучше?

— Докажу:



В. Каменский. 1917—1918.



ВЗЛЕТАЕТ ГАЗЕТА

ФУТУРИСТОВ

БУРЛЮКЪ—КАМЕНСКИЙ—МАЯКОВСКИЙ



Афиша о выходе «Газеты футуристов». Начало 1918 года.

Я вышел на площадь,
Выжженный квартал
Надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
Шевелит ногами непрожеванный крик.

Дальше Маяковский дал меткую характеристику каждого из поэтов-футуристов, блеснув великолепной памятью: прочитал с мастерством ряд стихотворных наших работ.

Третьим выступил Давид Бурлюк, иллюстрируя свой доклад диапозитивными снимками на экране.

В зале потушили электричество.

На экране появилась серая фотография каких-то сугубо провинциальных супругов, типа мелких торговцев.

Раздался хохот:

— Кто это?

Бурлюк, не поворачиваясь к экрану, умышленно сладеньким голосом начал:

— Перед вами — картина кисти Рафаэля.

Снова хохот:

— Неужели?

Тогда Бурлюк, кокетливо повернувшись к экрану, посмотрел в лорнет:

— Ах, виноват. Это карточка одного уездного фотографа из Соликамска. Ну, право же, эта милая супружеская чета вам понятнее и ближе икон Рафаэля.

Голос из темноты:

— Рафаэль лучше. (Смех.)

Бурлюк:

— В самом деле? (Смех.) Но ведь Рафаэль занимался искусством, а искусство — вещь спорная, условная и жестокая. Рафаэль был одержим религиозными чувствами и делал картины для Ватикана. Четыреста лет тому назад разрешалось быть Рафаэлем и Леонардо да Винчи: ведь тогда, кроме римского папы да нескольких мадонн,

вообще ничего хорошего не было, но теперь?.. Позвольте опомниться! Где мы, кто мы? Позвольте представиться.

Голос:

— Позволяем.

Бурлюк:

— Мерси за любезность. (Смех.) Теперь, ныне, сегодня, сейчас перед вами, современниками, выступают ваши апостолы, ваши поэты, ваши футуристы, воспевающие культуру городов, мировую динамику, массовое движение, изобретения, открытия, радио, кино, аэропланы, машины, электричество, экспрессы — словом, все, что дает нового современность. И мы полагаем, что вы должны требовать от искусства смелого отраженья действительности. А когда мы даем вам не Рафаэля, а динамическое построение картины, невиданную композицию красочных линий, сдвиги и разложенье плоскостей, опыты конструктивизма, введение новых матерьялов в работу, когда даем вам на показ всю лабораторию наших исканий, вы заявляете, что футуристические картины малопонятны. Еще бы! После Айвазовского и Репина увидеть на полотне бегущего человека с двенадцатью ногами — это ли не абсурд!

Голоса:

— Абсурд! Правильно!

— У меня только две ноги.

Бурлюк:

— У вас две ноги, если вы сидите и считаете свои ноги. (Смех.) Но если бежите, то любой зритель увидит, что мелькающие комбинации ног составляют впечатленье двенадцати. И никакого тут абсурда нет. Искусство — не колбасная. Художник — не торговец сосисками! (Аплодисменты.) Право художника — право изобретателя, мыслителя, мастера своего станка. А право зрителя смотреть на произведение нового искусства новыми гла-

зами современника. (Голоса: «Правильно!») Довольно пребывать с очами на затылке и любоваться раскрашенными фотографиями господ передвижников и разных «миров искусства» — этих провинциальных эстетов и барских созерцателей хорошеньких женщин, запечатленных на полотнах в церковно-золотых рамах. Довольно пошлого эстетизма! Пора глядеть вперед по-современному и не одними только внешними глазами, но и зреньем интеллекта, разума, расчета. Пора видеть в картинах геометрию и плоскости, матерьял и фактуру, динамику и конструкцию. Пора учиться понимать, как строится искусство футуризма. Пора плюнуть на безграмотных, тупоголовых газетных критиков — этих профессиональных ловкачей-провокаторов, выгоняющих строчки наглого невежества, нарочно путающих карты, чтобы засорить, забить ваши мозги всякой дрянью. К черту гонителей и палачей футуризма! (Гром аплодисментов.) Долой паразитов!

Дальше Бурлюк переходит к истории живописи девятнадцатого века, показывая на экране образцы, а затем — кубистические, футуристические работы последних дней.

Аудитория смотрит и слушает блестящего оратора с раскаленным вниманием до конца.

После докладов мы читали свои стихи под прибойный гул сплошных аплодисментов.

Многие записывали отдельные строки.

Наэлектризованный зал долго не отпускал нас с эстрады, требуя новых стихов.

Даже при выходе на улицу нас ожидала громадная толпа, которая пошла провожать нас по Мясницкой.

Даже по дороге мы читали стихи и говорили всякие веселые вещи.

Без конца, как своих друзей, нас приглашали в гости: в кружки, в студенческие столовки, на сходки, просто на вечеринки.

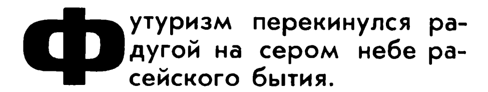
И мы, разумеется, ходили со стихами.

Наши книги лежали на столах, бегали по рукам, стихи заучивались, горячо читались.

Жизнь бурлила, как кипяток в печке, и каждый новый день приносил новые достижения: мы энергично работали, ширились в размахе, углублялись в мастерстве, выпускали сборники, выступали с возрастающей частотой.

Словом, «шли на высоту», по-авиаторски.

Путешествие трех



Футуризм перекинулся радугой на сером небе расейского бытия.

Напрасно старались газеты — эти кладбищенские ведомости — назвать наше движенье, нашу революцию в искусстве, наше новаторство открывателей просто «сезонной модой» или «общественным сумасшествием»; напрасно травили нас, называя «воображающими себя гениями» или «калифами на час», которые вот-вот обанкротятся и не «выдержат марки»; напрасно откровенно доносили полиции, что мы развращаем, революционизируем шальную молодежь, что мы «разжигаем страсти», устраивая публичные «скандалы».

Напрасно Яблоновский в «Русском слове» писал о нас фельетоны под заглавием «Берегите карманы».

Вся эта гнусная газетная пачкотня только прибавляла, укрепляла наших бесчисленных сторонников, и наконец отовсюду, изо всех городов России мы стали получать телеграммы с приглашением выступить с лекциями о футуризме.

Слава о нас, как говорится, ушла далеко за пределы отечества.

После ряда густых выступлений в Москве и Петербурге мы решили двинуться по городам России, куда нас призывали.

Первым посетили Харьков.

Газеты встретили:

ФУТУРИСТЫ В ХАРЬКОВЕ

Вчера на Сумской улице творилось нечто сверхъестественное: громадная толпа запрудила улицу. Что случилось? Пожар? Нет. Это среди гуляющей публики появились знаменитые вожди футуризма — Бурлюк, Каменский, Маяковский. Все трое в цилиндрах, из-под пальто видны желтые кофты, в петлицах воткнуты пучки редиски. Их далеко заметно: они на голову выше толпы и разгуливают важно, серьезно, несмотря на веселое настроение окружающих. Какая-то экспансивная девица поднесла футуристам букет красных роз и, видимо, хотела сказать речь, но, взглянув на полицейского надзирателя, ретировалась. Сегодня в зале Общественной библиотеки первое выступление футуристов. Билетов, говорят, уже нет, что и требовалось доказать. Харьковцы ждут очередного «скандала».

Но, разумеется, никакого «скандала» не было, если не считать шума, криков, обычной возбужденности молодежи, переполнившей концертный зал.

Выступление повторили.

И опять полно.

Наши номера в гостинице с утра осаждались группами харьковской горячей молодежи.

Многие приносили наши книги, чтобы мы дали автографы.

Я почти всем подписывал «Сарынь на кичку!», как просили.

Разинские стихи, как вселяющие дух бунта, нравились больше всего.

На афишах я печатался: «Пилот-авиатор Императорского Всероссийского аэроклуба» — это делалось для того, чтобы благополучно получить губернаторское разрешение афиши, ибо обычно полиция, взглянув на афишу, разрешения не давала, а посылала за визой к губернатору, к которому я ходил лично.

Показывал «его превосходительству» диплом авиатора, где было сказано, чтобы власти оказывали мне всяческое содействие.

Потом показывал афишу с выделенным заглавием «Аэропланы и поэзия».

Губернатор недоумевал:

— Но причем же тут футуризм? Что это такое? Зачем?

Я объяснял, что футуризм главным образом воспевает достижения авиации.

Губернатор спрашивал:

— А Бурлюк и Маяковский тоже авиаторы?

Отвечал:

— Почти...

— Но почему же, — интересовался губернатор, — вокруг ваших имен создается атмосфера скандала?

Отвечал:

— Как всякое новое открытие, газеты именуют наши выступления «сенсацией» или «скандалом» — это способ создать «бучу», чтобы больше продавалась газета.

— Пожалуй, это правда, — соглашался губернатор и неуверенной рукой писал: «Разрешаю».

А газеты действительно густо наворачивали всяких фельетонов, статей, интервью, пускаясь в самое развеселое плаванье по лужам остроумия.

Например, в том же Харькове после первого выступления писали:

«...верзило Маяковский, в желтой кофте, размахивая кулаками, зычным голосом «гения» убеждал малолетнюю аудиторию, что он подстрижет под гребенку весь мир, и в доказательство читал свою поэзию: «парикмахер, причешите мне уши». Очевидно, длинные уши ему мешают. Другой «поэт-авиатор» Василий Каменский, с аэропланом на лбу, кончив свое «пророчество о будущем», заявил, что готов «танцевать танго с коровами», лишь бы вызвать «бычачью ревность». Для чего это нужно, курчавый «гений» не объяснил, хотя и обозвал доверчивых слушателей «комолыми мещанами, утюгами и

вообще скотопромышленниками». Однако его «Сарынь на кичку» — стихи самые убедительные: того и гляди хватит кистенем по голове. Но «рекорд достижений футуризма» поставил третий размалеванный «гений» Бурлюк, когда, показав воистину «туманные» картины футуристов, дошел до точки, воспев в стихах писсуары!!! Надо же было додуматься до подобного «вдохновенья». О, конечно, успех у футуристов был громадный, невиданный, похожий на «великое событие» в наши скучные дни, но этот успех делает молодежь, которой очень нравится, что футуристы смело плюют на признанных всем миром настоящих жрецов алтаря искусства».

В этом последнем случае мы в самом деле не стеснялись, ибо этой тактикой разрушали ореол величия далекого прошлого, перед которым все были в «священном преклонении», кроме нас, устремленных в будущее.

В Полтаве, где выступали после Харькова, нам свистали даже за Надсона, попавшего на зуб мудрости.

Однако и «полтавская битва» не оставила желать лучшего.

В Полтаве, между прочим, со мной познакомились (пришли в театр, где мы читали) две старушки, которые назвали себя родственницами Гоголя; они предлагали купить шкатулку Гоголя, наполненную его же большими письмами, присланными из Москвы близким родным.

Из разговоров я узнал, что письма хранятся неопубликованными и в этой же шкатулке имеются записки — нечто вроде дневника.

Я бы и купил, но за всем этим надо было поехать куда-то под Полтаву, где проживали старушки.

Мы же спешили в Одессу, где были объявлены выступления.

И теперь я очень сожалею, что не приобрел эту шкатулку с письмами Гоголя, которого любил с детства.

Мне скажут: но ведь вы, футуристы, не признавали старых гениев.

Повторяю: это была дипломатическая тактика.

И сейчас я убежден, что и Гоголь, и Пушкин ничего

общего с современностью не имеют, но это им не мешает оставаться на своих пьедесталах.

Когда мы на лекциях сталкивали всех кумиров литературы с «парохода современности», это следовало понимать аллегорически.

Ибо мы не меньше других знали ценность и Рафаэля, и Пушкина, и Гоголя, и Толстого.

По этому случаю в Одессе мы выдержали особо свирепый натиск газетной критики, да и слушателей из партера одесского общества.

Сделав обычный «авиаторский» визит к губернатору, получив разрешенье, мы выступили в городском театре, до потолка переполненном пестрой публикой.

Знакомый по Петербургу критик Петр Пильский сказал крепкую вступительную речь, как блестящий адвокат, защищающий тяжких преступников.

За ним выступил я с докладом «Смехачам наш ответ», в котором дал достойную отповедь нашим врагам.

Но едва коснулся литературной богадельни седых «творцов, кумиров и жрецов», как в партере зашикали, загалдели, а на галерке захлопали.

Замечательно, что каждый город защищает какого-нибудь одного писателя, которого никак трогать нельзя.

В Одессе таким оказался Леонид Андреев.

Можно всех святых свалить с «парохода современности», но Леонида Андреева не тронь.

Я было тронул Андреева за убийственный пессимизм, но меня затюкали.

С таким же «успехом» выступил Маяковский, остроумно наподдававший малокровным символистам-поэтам.

Коньком Маяковского являлся Бальмонт, как Рафаэль у Бурлюка.

Но когда Бурлюк дошел до «Я смотрю на беременный памятник Пушкину» и, особенно, до своих «писсуаров», тут поднялся скандальный гвалт.

Поклонники «изящной поэзии» оскорбились.

Между прочим, когда я читал авиаторские стихи, из первого ряда партера встал генерал (какое небывалое нарушение «общественного спокойствия»: даже генерал говорит с места, как на собрании; по тем временам это было невероятно до строгой ответственности) и заявил:

— Весь мир преклоняется перед героями воздуха. А тут какой-то футурист Каменский декламирует возмутительные стихи об авиаторах. Да если бы этого футуриста хоть раз посадить на аэроплан, он не смел бы писать подобные неприличные стихи и связывать авиацию с футуристами. Это непозволительно!

Партер горячо аплодировал генералу, вспотевшему от возмущения и несдержанности.

Но тут-то я и выиграл «куш», когда спокойно объяснил свое авиаторское право и пригласил генерала проверить мой диплом с фотографическим портретом.

Генерал пришел на сцену, проверил, извинился.

А театр устроил мне овацию.

Бурлюк крикнул в зал:

— Вот когда вы так же проверите идеи футуризма, вы станете не меньше восторгаться.

Теперь аплодировали Бурлюку.

Вообще наши выступления носили характер митингов, где на первом плане горела возбужденность собравшихся.

В Одессе прошло несколько рядовых выступлений, и все — с неостывающим успехом.

В гостинице, на улицах была обычная картина: нас окружала неисчерпаемая смена молодежи, начиненная нашими стихами и лозунгами искусства молодости — футуризма.

Эта передовая молодежь превосходно нас понимала, ценила наше движенье, и никакие провокаторские гнус-

ные газетные статьи не могли помешать нашему торжественному шествию.

Нас понимали и в том отношении, что, будучи убежденными революционерами, мы не имели возможности сказать об этом открыто, но так или иначе мы революционизировали молодые умы, в свою очередь травили буржуазию, бунтовали против «устоев» тюремного бытия, издевались над «внутренним» мещанством духа, толкали к новому мироощущению, будоражили жизнь.

Полагаю, что в эти трудные дни реакции, когда в тех же «Южных мыслях» и «Одесских новостях», в тех же номерах газет (они у меня хранятся), где травили нас, жирным шрифтом печатали названия телеграмм и самые телеграммы «К освящению храма в память 300-летия дома Романовых», — в эти дни читать публично

Сарынь на кичку!

было достаточно крепким доказательством наших убеждений.

Ведь почти каждый раз (и в Москве, и в Петербурге) после выступлений меня водили в участок для составления протокола.

Диплом пилота-авиатора выручал и тут.

Я давал подписку, что не буду читать подобных вещей и, конечно, читал всюду.

Здесь, разумеется, нет и капли геройства (сейчас все расценивается по-другому — это ясно), но тогда это было проблеском во тьме.

Только живые свидетели, которых еще много, могут вспомнить и наши заслуги, заслуги русских футуристов, сыгравших свою историческую роль.

После одесской бучи мы поехали в Кишинев, потом в тот самый Николаев, где я спал в гробу, где работал у Мейерхольда.

Былое бюро похоронных процессий скончалось, старики Грицаевы умерли, семья разлетелась.

Мы выступали в театре, в котором я когда-то играл под наблюдением закулисных глаз Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

К подъезду нашей гостиницы привалила большая толпа молодежи и потребовала нашего выхода на улицу для прогулки.

И мы гуляли по Соборной в тесном кольце юношей и девиц, читавших наши стихи.

Наряд полиции следовал за нами по мостовой.

Зачем? Неизвестно.

Много непонятного происходило вокруг нашего появления.

Рекорд непонятности остался за Киевом.

К началу нашего выступления в Киеве к подъезду театра пригнал отряд конной полиции.

Около театра собрались кучки студентов и пели «Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой».

Полиция разгоняла студентов.

Когда мы подходили к театру, к нам кинулось из толпы несколько студентов с пламенными вопросами:

— Вы за революцию?

Мы успокоили.

Студенты убежали.

Когда подняли занавес в театре, мы ахнули: на каждые десять человек переполненного зала торчал полицейский.

Такого зрелища я не видал никогда.

Что случилось? Никому не понятно.

Мы подвесили на канатах рояль верх ногами и под ним выступали.

Общая картина та же, что и в Одессе, и всюду.

Только на следующий день газета «Киевская мысль» напечатала:

ФУТУРИСТЫ В КИЕВЕ

Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов: Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали: генерал-губернатор, обер-полицеймейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 25 околоточных надзирателей, 60 городовых внутри театра и 50 конных возле театра.

По-моему, это была самая замечательная статья о наших выступлениях.

После нескольких лекций в Киеве поехали в Саратов и потом в Самару.

В Самаре нас почему-то чествовала городская управа (в одном частном доме).

Секретарь управы, по поручению городского головы, спросил наши имена-отчества.

Я сказал:

— Этот — Давид Давидович, этот — Владимир Владимирович, а я — Василий Васильевич.

— Нет, это не может быть! — воскликнул секретарь управы. — Нет, это неудобно. Я спрашиваю серьезно. Сейчас голова будет говорить речь, и если он так вас назовет, все, право, засмеются. Пожалуйста, скажите.

— Но нас так зовут в самом деле.

— Нет, это неудобно. Смешно. Ей-богу, вы это придумали. Уж лучше разрешите по имени и фамилии, как указано на ваших афишах.

— Разрешаем.

Из речи головы мы поняли, что самарский голова — большой либерал. Он прямо произнес:

— На фоне печальной русской действительности вы, футуристические поэты, самые яркие и свободные люди. Ура!

Это нас ободрило — мы двинулись взять Казань.

В огромном зале Дворянского собрания казанские студенты, запрудившие проходы и окна, так нас горячо

приветствовали, что полицеймейстер шесть раз прерывал наше выступление, кричал:

— Пока не прекратится скандал, я не позволю продолжать.

Страсти бушевали бурей на Волге.

Едва доплыли до берега.

Скандал, как всюду, заключался в том, что молодая аудитория неистовствовала, кричала, свистала, топала, хлопала, веселилась.

Полицеймейстеры нервничали.

А мы привыкли и продолжали.

Посетили Пензу.

В Пензе уже существовал «футуристический дом» — семья Константина Карловича Цеге, где часто гостили известные художники-футуристы: Владимир Бурлюк, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов.

Сам Цеге учился в пензенской гимназии вместе с Мейерхольдом.

В доме Цеге жили наши книги, картины, музыка, стихи.

Дальше побывали в Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе.

Тифлисская молодежь, прокопченная солнцем, встретила с исключительным грузинским темпераментом.

Пламенная публика жарилась в театре, как шашлык на вертеле.

Отдельные фразы, лозунги, вроде «нажимай на левую», стихи, ответы на реплики принимались взрывами горячности.

Наши прогулки по Головинскому были окольцованы грудами сияющей юности.

«Тифлисский листок» злился:

> ...этим прославленным «провозвестникам будущего» мало, тесно в театрах, так они разгуливают по Головинскому в своих желтых облаченьях, собирая уличные толпы и тем мешая пешеходному движению. Пора это «столпотворенье» прекратить.

После ряда тифлисских выступлений в оперном театре и в гостях мы побывали еще в разных городах и наконец вернулись в Москву в самом воинственном состоянии закаленных бойцов.

Стремительное путешествие в «экспрессе футуризма» по многим городам России, победные следы битв и там, на местах сражений, оставшаяся армия молодых последователей — весь этот рейд убедил нас продолжать завоеванья дальше с возрастающей энергией опытных мастеров.

От нас ждали новых книг, свежих работ.

Маяковский призывал:

Читайте железные книги!

Работа над словом. Стаи книг

Весна 1914 года была жаркой, как лето.

По приезде в Москву каждый из нас и наших соратников в эти дни буйного расцвета футуризма кипел желаньем напечатать свою книгу, дать свой сигнал.

И вместе с тем необходимостью стало перейти от отдельных книг и сборников на рельсы литературного объединения.

Мы организовали и быстро выпустили толстый «Первый журнал русских футуристов», где принимали участие Аксенов, Д. Болконский, Константин Большаков, В. Бурлюк, Давид Бурлюк, Н. Бурлюк, Д. Баян, Вагус, Васильева, Георгий Гаер, Рюрик Ивнев, Вероника Иннова, Василий Каменский, А. Крученых, Н. Кульбин, Б. Лавренев, Ф. Леже, Б. Лившиц, К. Малевич, М. Матюшин, Владимир Маяковский, С. Платонов, Игорь Северянин, С. Третьяков, О. Трубчевский, В. Хлебников, Вадим Шершеневич, В. и Л. Шехтель, Г. Якулов, Эгерт, А. Экстер и другие.

Редакционный комитет: К. Большаков (библиография, критика), Д. Бурлюк (живопись, литература), В. Каменский (проза), В. Маяковский (поэзия), В. Шершеневич (библиография, критика). Редактор Василий Каменский. Издатель Давид Бурлюк.

Этот журнал явился объединением нескольких группировок. В него входили «Мезонин поэзии» (Вадим Шершеневич, К. Большаков, Сергей Третьяков, Борис Лавренев, Рюрик Ивнев и др.) и «эго-футуристы» во главе с Игорем Северяниным, Василиском Гнедовым, К. Олимповым (сын поэта Фофанова).

Отдельными авторами в наши сборники вошли Николай Асеев и Борис Пастернак.

Вообще «штаб футуризма» разросся до громадных размеров.

Даже трудно было учесть наших многочисленных новых, прибывающих сообщников.

Наряду с журналом я выпустил цветную пятиугольную книжку «железобетонных поэм» «Танго с коровами» — это были стихи конструктивизма, где я впервые (также и в журнале) применил разрывы, сдвиги и лестницу ударных строк стихотворчества.

Например (из «Первого журнала русских футуристов»):

Перекидывать
мосты
от слез
бычачьей
ревности —
до слез
пунцовой девушки.

Вся эта «графическая» типографская техника разорванных строк стихов и конструктивизм «железобетонных поэм» (в «Журнале» и книжке «Танго с коровами», 1914 год), весь этот словострой открыт мною для того,

чтобы подчеркнуть ритмическую ударность стихотворного матерьяла.

Если я писал прежде («Садок Судей»):

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
Встань рано-рано,
Хоть раз да встань,
И, не умывшись,
Иди умыться на росстань, —

теперь, в 1914 году («Телефон» из «Танго с коровами»):

Весна.
Где-то
далеко
покой
и поля.

Здесь наглядная ритмическая ударность походит на ступени лестницы — слово живет полноценно и произносится разрывно, с расстановкой.

Я нарочно взял для примера «обыкновенные» слова, чтобы показать, как отдельные, оторванные строки придают этим «где-то», «далеко» оправу особой значимости.

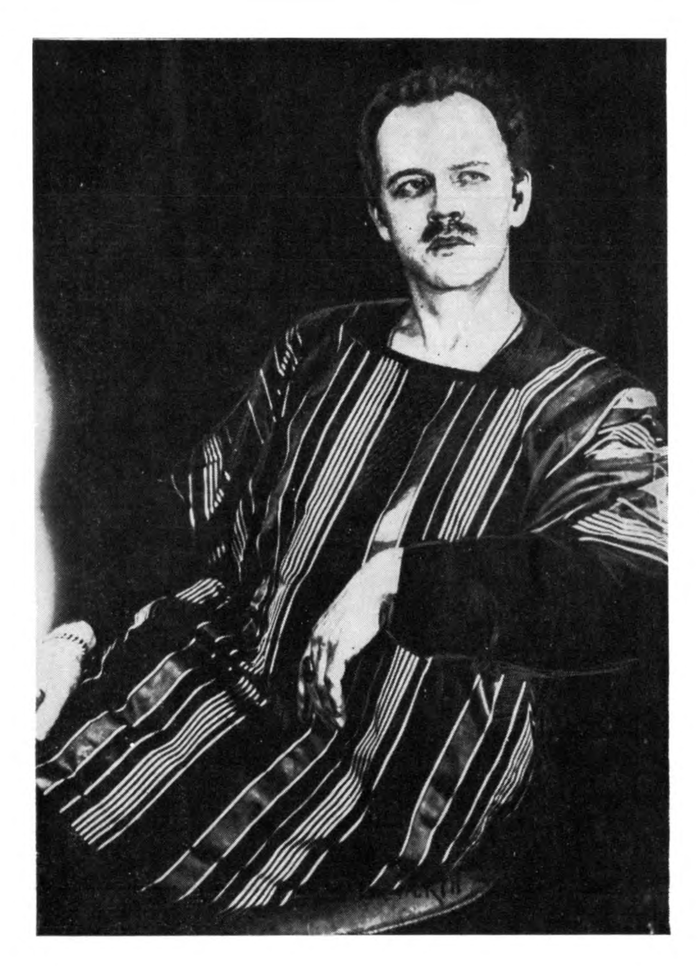
В этом ритмическом методе нет обычной «толчеи слов» и «перезвона», а есть учет четкости, удара молота по наковальне словостроя, буквостроя, цифростроя.

Подчеркнутость выделенных слов, введенье в стихи (жирным шрифтом) цифр и разных математических знаков и линий делают вещь динамической для восприятия, легче запоминаемой (читаешь, как по нотам, с экспрессией обозначенного удара).

Я уже не говорю о том, что можно одними буквами дать графическую картину слова.

Например, в том же стихотворении «Телефон» я изображаю похоронную процессию буквами так:

П Р О Ц Е С С И Я



В. Каменский в «Кафе поэтов» в Москве на съемках фильма с участием В. Маяковского.



В. Каменский. Рисунок Вл. Маяковского. 1918.

Каждая буква разного шрифта, причем узкое «о» положено горизонтально, что означает — гроб. Самое слово «процессия» растянуто, как вид процессии, в одну длинную строку.

Таким образом, слово, предназначенное для выявления наиболее точного понятия, в данном и всех иных случаях дает высшую точность.

Особенно это касается стихов, где словесная концепция возведена в культ, где конкретная форма возвеличивает содержание.

Не спорю, быть может, в увлеченье «формой» некоторые футуристы (и я — в первую голову) слишком увлеклись, пусть даже «пересолили», но эта «лаборатория» необходима для мастерства, чтобы заставить СЛОВО служить истинной цели — возвеличивать содержание.

Поспешное обнародование освобожденья слова как такового, открытие дверей нашей лаборатории, откровенные изыскания словотворчества, первые образцы футуристической поэзии — все это языковое изобретательство породило массу глупейших разговоров наших безграмотных критиков в бульварных газетах.

Тупоголовые пристава — эти охранители прав старого «священного языка» и «изящной поэзии» — кричали до бешенства, что мы «сошли с ума на форме», что будто мы не признаем ни содержанья, ни здравого смысла, что мы «пакостим прекрасный русский язык» своими «фокусами».

О человеческая глупость, конкурирующая с Атлантическим океаном!

Нет, тебе, сверхокеанская глупость, берегов и преград не положено!

Невзирая на тебя, свирепая глупость мещанского бытия, мы над твоей кисельной головой, как истинные энтузиасты-инженеры, строили стальные мосты футуристического изобретательства, чтобы по этим стальным мос-

там двинуть шествие культуры будущего нового искусства.

Мы строили футуризм вполне сознательно и достаточно организованно.

Но мы строили как изобретатели и открыватели — в этом наше неоспоримое достоинство, — и, следовательно, наш сырой матерьял нельзя было назвать отсутствием здравого смысла.

Ведь мы-то, будучи мастерами-предводителями революции искусства в полном объеме, превосходно понимали, что делали великое дело не только в смысле установления новых форм, новой техники, новой культуры языка, словотворчества, книгостроения, но и в смысле постановки проблемы социальной одновременно.

Все наше движенье говорит за то, что мы были организованными новаторами как в борьбе за новое искусство, так и в борьбе с буржуазно-мещанскими устоями.

Достаточно вспомнить предшествовавшее царство символистов, эту мистико-идеалистическую школу, которую мы сменили, чтобы судить о разнице меж «небом символистов» и «землей футуристов».

Земляной Маяковский гремел:

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.

Но первая «земля футуристов» была мало понятна для читателей наших книг, для посетителей наших выставок картин, как для зрителей нашего театра трагедия «Владимир Маяковский» и опера «Победа над солнцем» (музыка Матюшина, слова Крученых, декорации Малевича) — эти спектакли шли в начале декабря 1913 года в помещении театра Комиссаржевской, в Петербурге.

Выявление крайне анархических форм в поэзии, живописи, музыке, театре, несло двойную функцию: разрушенье старого искусства и созиданье нового.

Нас устраивал не постепенный, эволюционный переход к новым формам, а революционный взрыв новаторского, футуристического переворота.

При этом каждый из нас, будучи безудержно молодым, горячим, ретивым в битвах, старался показать себя самым левым, отчаянным изобретателем, невзирая на последствия.

Тут рекорд остался, конечно, за Крученых с его заумным языком, с его бесконечными брошюрами кустарного производства.

Этот — крайний анархист Крученых — наводил страх на население своими всяческими вариациями «вселенского языка».

Но лаборатория «островитянина» Крученых имела свое основанье в общей системе культуры языка, поскольку заумный поэт проделывал опыты над функциями звуков человеческой речи, над взаимными отношеньями и измененьями этих звуков.

Вообще мы не зря увлекались фонетическими изысканьями, и в этом отношении каждый ученый лингвист подтвердит (и подтверждали) наши языковые достиженья.

Ну вполне естественно, что публика во главе с «критиками», не владеющая специальными знаньями языка, не понимала вообще наших формальных достижений, не признавала новых слов, не желала, удерживая тухлые позиции старины, нам верить.

И в то же время эта же публика горячо аплодировала мне всюду, где я произносил:

С а р ы н ь н а к и ч к у!

Никто не знал значенья этих слов, и никто не спрашивал о смысле, но здоровый инстинкт приветствовал заумные слова, созданные понизовой вольницей Разина.

Словом, публика есть публика: она, начиненная барахлом прошлого, не хотела учиться, не хотела знать мудрой красоты своего языка, на котором говорила, над которым мы работали.

А башибузуки-критики окончательно опутывали эту публику тенетами невежества.

Подобно хунхузам, эти критики налетали на отдельные временные крайности футуризма и потрошили со сладострастием вампиров надерганные, перетасованные образцы достижений.

В этом отношении больше других доставалось Хлебникову, этому Колумбу новой культуры языка.

Как раз этой весной 1914 года вышел первый том творений Хлебникова, изданный Бурлюком.

Давид Бурлюк в своем предисловии к этой книге писал:

Хлебников не подобен поэтам, кои пишут на пишущей машинке, рукописи коих заключены в папки с золотым обрезом, — автору известна каждая строчка: Хлебников — не Данченко, кто больше отпечатал, чем написал.

Хлебников указал новые пути поэтического творчества.

Безусловно! Хлебниковым созданы вещи, подобные которым не писал до него ни в русской, ни в мировых литературах — никто.

Хлебников — наша эпоха. Что бы ни тявкали Осоргины, Яблоновские и др. — «Закат футуризма», «Все это будет забыто» и т. д., — Хлебников не будет забыт никогда. Он тот исток, из коего и в грядущем возможно зарождение новых прекрасных ценностей. Хлебников — хаотичен, ибо он — гений; лишь талант ясен и строен.

Хлебников разносторонен: он математик, филолог, орнитолог, все роды литературы ему доступны.

Мое предисловие было такое:

Словождь! Журчей с горы русской поэзии. И, как журчей, он стремист в зачарованном беге, и в каждом отдельном движении его — победа и строгая мудрость завершенья. Каждые два, три сло-

ва его, взятые случайно, — поэма, мысль, самоцельность. Первый он освободил слово как таковое, придав ему значенье великое и открывающее, образно законченное, национальное. Словотворчество Хлебникова в своей расовой самобытности доходит до гениального выявления русского языка с его типическими особенностями в смысле современного понимания. Как сеятель неологизмов, филологически правильно построенных, он первый создает в русской поэзии особую форму стихотворения, в котором глубоко отразился современный дух. Хлебников сумел убедительно-строго пересоздать всю русскую поэзию во имя современного искусства.

В это время вышла трагедия «Владимир Маяковский», где среди действующих лиц «поэт Маяковский» говорит:

Придите все ко мне, кто рвал молчание,
Кто выл оттого, что петли полдней ту́ги,
Я вам открою словами простыми, как мычание,
Наши новые души, гудящие, как фонарные дуги.

Новая душа Маяковского действительно потрясающе гудела на все сонные окрестности буржуазно-мещанского благополучия, когда он читал с эстрады новые стихи:

Внизу суетятся рабочие,
Нищий у тумбы виден,
А у этого брюхо и все прочее —
Лежит себе сыт, как Сытин.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
Характер как из кости слоновой точен,
А этому взял бы да и дал по роже:
Не нравится он мне очень.

Вежливость Маяковского в отношении к фабрикантам известна — казалось бы, спорить тут не о чем, но по-другому судили поэта те самые критики, о которых он писал:

Писатели, нас много. Собирайте миллион,
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
Ежедневно прополаскивать в газетной странице!

В эти же дни вышло второе изданье «Дохлой луны», где Давид Бурлюк звонил в колокола молодости:

Каждый молод, молод, молод!
В животе чертовский голод, —
Так идите же за мной,
За моей спиной.

И он же трагически проклинал рабство времени:

Была душа полна проказой:
О пресмыкающийся раб!
Сатир несчастный, одноглазый,
Доитель изнуренных жаб.

В эти же часы появилась книга стихов Бенедикта Лившица «Волчье солнце». Поэт ассоциирует мрак бытия с «Ночным вокзалом»:

Мечом снопа опять разбуженный паук
Закапал по стеклу корявыми ногами.
Мизерикордией! — не надо лишних мук.
Но ты в дверях жуешь лениво сапогами,
Глядишь на лысину, плывущую из роз,
Солдатских черных роз молочного прилавка,
И в животе твоем под ветерком стрекоз
Легко колышется подстриженная травка.

В эти часы весеннего разбега, когда зимний холод прошлого безнадежно спорил с песнями прилетевших плодиться птиц, наши резвые книги взлетали одна за другой над ожидающими рощами читателей. В числе стаи взлетел и сборник «Молоко кобылиц». Николай Бурлюк спрашивал:

Что значит? Шум и шум к весне,
Лед ломится, и птица скачет.
Мой друг, что это значит?

Хлебников отвечал:

Небистели, небистели,
Озарив красу любин,
В нас стонали любистели,
Хохотали каждый ин.
Их нежные милые личики
Сменялись вершиной кудрей,

Из уст их струилися кличики:
Смотрите, живите бодрей.

(„Творенья“, том I)

Николай Асеев откликался первой книжкой стихов «Ночная флейта», так же мастерски играя, как новорожденный «пастух стихов» Борис Пастернак, тоже в эти утроликие дни появившийся с первой книжкой «Близнец в тучах».

Сергей Третьяков, Игорь Северянин, Вадим Шершеневич, Константин Большаков — все звучали убедительными мастерами в коллективе книжных стай.

Воистину это была густая, как мед, весна, если даже (навеки ушедшая от нас) Елена Гуро в предвесеннем сборнике «Трое» — Гуро, Хлебников, Крученых — звучала радостью с высоты «Небесных верблюжат» завещаньем:

Обещайте. Поклянитесь, далекие и близкие, пишущие на бумаге чернилами, взором на облаках, краской на холсте, поклянитесь никогда не изменять, не клеветать на раз созданное прекрасное лицо вашей мечты, будь то дружба, будь то вера в людей или в песни ваши.

Мечта! — вы ей дали жить — мечта живет, — созданное уже не принадлежит нам, как мы сами уже не принадлежим себе.

Да, вот такая безудержная весна жила на «земле футуристов».

В Петербурге энергично работало объединенное общество поэтов и художников «Союз молодежи», выпуская под этим заглавием сборники-журналы с руководящими статьями, где Ольга Розанова писала:

Всякая новая эпоха в искусстве отличается от предшествовавшей тем, что в ранее выработанный опыт она вносит ряд новых художественных положений и, идя по пути этого развития, вырабатывает новый кодекс художественных формул;

где Хлебников учил:

Слыхал ли ты однако про внутреннее склонение слов? Про падежи внутри слова? Внутреннее изменение падежа изменяет смысл словесного построенья. Так слова — лес и лысый или еще более одинаковые — лысина и лесина, означая присутствие и отсутствие какой-либо растительности, возникли склонением в родительном (лысый) и дательном (лес) падежах. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок — то место, куда следует направить удар.

Знаменитое хлебниковское сопряженье корней:

Смейно, смейно воссмеемся!..
...О рассмейтесь, смехачи...
...Смеюнчики, смеянышки...
...О смеянств смеючий смех...

показывает, как научно сознательно шла работа над словом, создавая новую культуру языка.

Каждый из нас был языковым изобретателем, каждый работал над оформленьем словесного матерьяла, каждый мастерил свои части для общего механизма культуры искусства.

И каждый отдельно нес ответственность за идеологическую сторону работы.

В этом отношении мы были абсолютно независимы и по линии политических убеждений действовали самостоятельно.

Никто из нас не мешал Маяковскому, мастеру рифмы, зло издеваться над капиталистами.

Никто не мешал мне читать «Сарынь на кичку», и работать над романом «Стенька Разин», и вообще «бунтовать».

Никто не мешал Бурлюку громить мещанство и сокрушать «авторитеты».

Ведь даже Игорь Северянин в нашем сборнике «Молоко кобылиц» знал, что печатал:

В смокингах, в шик опробоРенные, великосветские олухи,
В княжьей гостиной, наструнились, лица свои оглупив.
Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе,
Скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив.

Каждая строчка — пощечина. Голос мой — сплошь
издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!

Насчет «каждой строчки-пощечины» началось еще с «Садка Судей» и «Пощечины общественному вкусу», где все было пропитано революцией искусства, где все дышало разрушеньем традиции «устоев великой русской литературы», где только по соображеньям объективных условий цензуры нельзя было сказать нашего настоящего слова, иначе нас бы прекратили и баста.

Но теперь, в 1914 году, когда общее состояние России открывало полегоньку тюремные двери «на волю» — с одной стороны, а с другой — усиливалась полицейская реакция, мы, левое крыло футуризма, действовали более открыто и убеждающе, даже в ущерб нашим формальным изысканиям.

Мы готовились к 1915 году.

В этой подготовке и была наша весна, обвеянная ветрами бунтующей молодости.

Армия молодежи, следовавшая в ногу с нами, росла и еще крепче верила в наше движение.

И тем ожесточеннее ругала, поносила и клеветала на нас газетно-мещанская критика, клеймя нас, обзывая вандалами, гуннами, поджигателями, подстрекателями, сумасшедшими.

Газетная травля сознательно строила провокацию по линии самосохранения: критики страшились наших разрушительных творений, критики боялись нашего громадного влияния на молодежь, критики трусили циклона наших книг, критики дрожали за свое прихлебательское существование и изо всех сил цепной своры старались угодить своим господам — капиталистам, содержателям газет.

И, главное, этот разнузданный дикий цинизм лакеев-критиков («Сумасшедшие! Шарлатаны!») очень нравился всему черносотенному разгулу лихого безвременья, когда героем политической арены Государственной думы был Пуришкевич.

А я, о «сумасшедший», в эти кошмарные дни задумал написать роман «Стенька Разин», чтобы раз навсегда показать, открыть свое идеологическое лицо, обвеянное возрастающими предчувствиями приближения революции.

О, непромокаемый энтузиаст, я глубоко верил, что черные дни самодержавной России сочтены, несмотря на торжество реакции, что именно теперь в этой рабской тьме чудесно будет зажечь свой разинский костер в Жигулевских горах надежд и ожиданий.

Верил, что своим костром согрею многих, кому холодно и бесприютно от леденящих будней тюремного жития.

Весна поила хмельной брагой.

Степан Разин. Игорь Северянин. Репин

Приехал летовать на свою Каменку.

И сразу же, через час после приезда, за ружье: на тягу вальдшнепов.

Ну, черт возьми, еле на ногах держался — так хотелось прыгать от буйного прилива избытков всяческих радостей горного, лесного, таежного окруженья.

Еще не успела скинуться с глаз пестрая кричащая мантия Москвы, еще в ушах не остыли звонки трамваев и телефонов, еще в голове болтались шумные мысли нашей веселой ватаги, еще ноги не привыкли к охотничьим сапогам, пахнущим дегтем; а тут берложная, хвойная глушь, закутанная в кисею заката, насторожилась в ти-

шине и слушала допевающих птиц и кукованье кукушек.

Майские жуки жужжали и хлопались об сучья берез.

Хоркали отсырелыми голосами вальдшнепы по-над лесом.

Верещала далекая сова.

Рябчики пересвистывались, спать укладывались в елках.

Зайцы боботали на полянах.

Пахло смоляными первыми листьями.

Земля дышала сочной благодатью молодости, расцветающим здоровьем, стихийными силами недр.

Все это земляное, травяное, звериное, птичье, жучье, червячье, вся эта мощь потайная, таежная, корнелапая вливалась в грудь восторженным хаосом и пьянила, будоражила, задаривала неисчерпаемыми щедростями.

Я стоял по горло в гуще торжества и, как ржущий жеребец, раздувал ноздри, чуя возбуждающий запах жизни-кобылы.

Хотелось невероятного: так бы весь мир насытил полнотой энтузиазма.

Мне же требовалось немного, и — куда деть свой размах темперамента, не знал.

Вот и кружился в вихре возможностей.

Избранный путь искусства казался узким, как и все пути специального направления, а жизнь, сама жизнь вокруг, жила в каждой капле бытия.

И в каждую каплю желалось ввязаться, влиться.

Захватывало положительно все: любовь к природе, полевое хозяйство, деревенский быт, труд крестьянина, интересы людей на земле — их печали и радости, их борьба за хлеб и волю.

Метался меж плугом и стихами.

То и другое рвался постичь, познать, как, впрочем, и все существующее на свете.

Одержимый энтузиазмом, я мечтал перекинуть мост от деревни к футуризму, как Степана Тимофеевича Разина — к современности.

Знал прекрасную цену всему, любил жить, охватывал мир, как ствол березы и потому шел прямой дорогой искренности, освещенный солнцем тридцатилетней юности.

Юность без берегов!

Раздутые паруса стремлений!

Кистень бунтующей воли!

Мы начинаем поворачивать земной шар в свою кумачовую сторону.

Наши лбы обветрены ветрами предвестий.

И песни наши не сами ли птицами прилетели к поре:

Эй, да вдоволь
Удаль моя — вдовушка.
День мой —
            Ретивый и горячий
                Конь в бою.
Я ли да не знаю —
За что свою головушку
            Буйным бурям отдаю.

Стоп! Это я — к слову о тридцатилетней юности, о необузданных порывах, которые толкали, призывали дать понизовую быль про Степана Тимофеевича.

Только в него, атамана сермяжного, я и мог, как ведро в колодец, опустить свою жажду, чтобы утолить бунтующий дух.

Таким вот разгульным, горячим конем в лугах будущего я и приступил к работе над романом «Стенька Разин».

А будущее в том заключалось, что хотел предсказать близкую неизбежность революции.

Мое предсказанье основывалось на наблюдениях, знаниях русской жизни и на убеждениях революционных

политических деятелей, с которыми я часто встречался во всех углах России, в этой неизбежности.

За все это время, начиная с 1903 года, я ни на минуту не переставал интересоваться ростом политического движенья, ни на минуту не забывал своей активной работы в 1905 году, ни на минуту не остывал в своей вере в революцию.

А когда в это лето вспыхнула мировая война, когда вся жизнь России взбудоражилась вдруг, когда началась стихийная раскачка умов и сердец, — уверенность в том, что надо работать над Разиным, возросла вдвое, как и волна величественных предчувствий.

Теперь даже и лес вокруг шумел Жигулевскими горами.

И, как никогда, носилось в воздухе «Сарынь на кичку!»

Я смотрел на царскую, генеральскую, помещичью, фабрикантскую, купеческую Россию глазами Разина и строил свое дело.

Сама природа Волгой разливалась во мне.

Жизнь не уставала удивлять.

Словом, все было так, будто сам сделал.

Даже от писем друзей веяло понизовой вольницей.

Наша ватага на парусах неслась к берегам будущего.

Бурлюк командовал издалека в коротких, но жирных строках:

Вася Разин! Держи линию — работай Степана. Крепи затею. Пиши «кистенем по башкам», как говорил. Удар верный. Думаю — к лучшему, если... утес Разина займет позиции. Пейзаж великолепным рисуется воображению. Рядом работай другие вещи. Необходимо. Что ожидаешь от завтра? Делай, как мы, энергично.

Хлебников прислал письмо:

Дорогой Вася! отчаянно радуйся — я пишу и протягиваю обе руки над Уралом: где-нибудь будешь ты и попадешь под благословенье. Я тебе завидую: даже соловьиное пенье мне недоступно. Когда я решу жениться — обращусь за благословением к тебе.

Милый, дорогой! А я получал письма от Николаевой (умер Максимович, и я хотел приехать, но не мог). Она, должно быть, сердится. Недавно получил письмо от «13 весен» из Садка Судей. Но ответил и так глупо, что боюсь — она будет недовольна. Твою «весеннюю поляну» я уже знаю и люблю по твоему письму. Пожелай и мне «весеннюю поляну», и тогда ты будешь белобородым жрецом, благословляющим издали.

Что мне сказать? Держи себя в страхе будетлянском.

Деловое предложение: ты записывай дни и часы чувств, как если бы они двигались, как звезды. Именно углы, повороты, точки вершин. А я построю уравнение. У меня собрано несколько намеков на общий закон (например, связь чувств с солнцестоянием летним и зимним). Нужно узнать, что относится к месяцу, что к солнцу. Равноденствия, закат солнца, новолуние, полнолуние. Так можно построить звездные нравы. Построй точную кривую чувства волны, кольца, винт, вращенья, круги, упадки.

Я ручаюсь, что если она будет построена, то ее можно будет объяснить — М, З, С — месяц, солнце, земля. Эта повесть не будет иметь ни одного слова. Сквозь И и З будет смотреть закон Ньютона, пока еще дышащий.

Журнала второго тома нет, нет и «Танго с коровами». Присылай. Хороша берлога с «весенней поляной».

Я живу здесь рядом с сыскным отделением, — какая грязная подробность, и сонмы их часто проходят перед окнами. Вот что делает твой воевода. Скучает. В плену у домашних. Домашние меня никуда не выпускают.

Подымаю кубок мутной волжской воды и пью за «весеннюю поляну». Ура!

Пожелай мне, чтобы я кого-нибудь полюбил и написал что-нибудь.

Пока что и это и другое невозможно.

Кстати, молния и молодец, солнце и солодка — подруги.

У тигра в желтой рубашке (чит. Вл. Маяковского. — *В. Кам.*): «в ваших душах выцелован раб» — ненависть к солнцу, «наши новые души, гудящие, как дуги» — хвала молнии, «гладьте черных кошек» — тоже хвала молнии (искры).

Дорогой, милый солнцелив, до свиданья.

Целую.

Я здесь в мешке четырех стен. Астрахань разлюбил, никуда не выхожу. Жалею, что поехал сюда. Целую.

Витя.

Дарю:

О, человек, оставь смиренье!
Туда, где старой осью хлябая...
и т. д.

Вообще не пора ли броситься на уструги Разина? Все готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара. Готовь список. Присылай.

Н. И. Кульбин писал:

Васенька!

Пиши кровью. Во время французской революции кто-то писал кровью. Смелость футуризма выше искусства. Мы перешли грани возможного — мы идем дальше. Новая жизнь строится в новых высших измерениях. Цель — свобода. Ты прав: мы должны предвидеть великие изменения. Это сделает война. Так было всегда. Тем необходимее соединиться всем мастерам искусства. Бояться нечего — нас большинство, мы не боимся труда, любим труд и красоту его показываем людям. С каждым часом нас понимают глубже. Шутовство критиков кончилось крахом: критики теперь сознают, что пока они занимались дурацкой арлекинадой — футуризм вырос и стал великаном. Видел А. А. Блока, он сказал: будем вместе. Часто вижу М. Кузмина, Ф. Сологуба, К. Чуковского, они нас приветствуют. Осенью ты должен быть здесь с «Разиным» и друзьями. Есть важные дела.

Жатва на полях кончилась: ржаные бабки стояли на жнивье, как солдаты, отрядами.

Я не отставал, собирая тучный урожай своей «литературной нивы».

Почти закончил «Разина», написал пьесу «Здесь славят разум», большую «Поэмию о Хатсу» и ряд стихов.

Для летнего «отдыха» этого труда вполне достаточно: нередко работал и по пятнадцати часов в день.

Перед отъездом три недели подряд бродил на охоте по лесам и озерам — в этом празднике уральской оранжевой осени и был настоящий отдых.

После двинулся в Москву.

Сейчас же получил приглашенье приехать в Харьков — выступить с лекцией и стихами.

В коридоре харьковской гостиницы встретился с Иго-

рем Северяниным, который приехал со своим «поэзоконцертом».

Северянин затащил к себе в номер, где я сразу почувствовал его стихи:

Цветов! огня! вина! и кастаньет!
Пусть блещет «да»! Пусть онемеет «нет».

В номере блистало «да»! Цветы, вино, Тианы, Нелли, Ингриды и несколько харьковских пажей.

Было все очень просто.
Было все очень мило.

Но все-таки всех кудесней был сам поэзоконцертант: высокий, черный, кудрявый, с «лицом немым, душою пахотной», в длинном сюртуке, с хризантемой в петлице, ну, словом, русский Оскар Уайльд.

Северянин метался от

Вы такая эстетная, вы такая изящная,
Но кого же в любовники?
И найдется ли пара вам?
Ножки пледом укутайте дорогим, ягуаровым

до «восторженной поэзы»:

Но пока молодежь молода,
Не погаснет на небе звезда,
Не утопится солнце в воде, —
Да весенятся все и везде!
И смотрю я в сплошные глаза:
В них — потоп, а в потопе — гроза.

Благополучно кончив свою «стихобойню» (так назывался мой вечер в Харькове), я уехал в Петроград, переименованный из Петербурга.

Здесь от издательства «Современное искусство» Н. И. Бутковской получил предложенье написать монографию о Н. Н. Евреинове.

Евреинов зимовал тогда в Куоккале (в Финляндии) на даче. Туда я и уехал писать книгу.

В Куоккале в это время жили в собственных дачах знаменитый «художник земли русской» Илья Ефимович Репин и известный критик К. И. Чуковский.

Куоккала — место замечательное: на берегу моря, дачи кругом в сосновом лесу.

В белой зимней тишине в евреиновской даче, принадлежащей родителям художника Юрия Анненкова, среди блестящих картин Анненкова мы и работали: Евреинов — в своей комнате, я — в своей.

Евреинов писал большой труд о театре, усердно писал, а в часы отдыха садился за рояль, прекрасно играл вещи своего сочинения и вообще что угодно.

У Репина были традиционные обеды по средам — специально для гостей.

Приезжали из Петербурга.

В первую же среду мы пошли к Репину.

Илья Ефимович сразу же поразил необычайной жизнерадостностью, культурностью широкого, большого человека.

Евреинов шутил:

— Смотрите, Илья Ефимыч, перед вами — один из самых страшных футуристов.

Репин радостно басил:

— Ах, вот это интересно! Браво, браво! Ну как же это интересно! Все говорят о футуристах, и я желаю очень познакомиться. Ну! И восхитительно! Милости просим!

Комнаты у Репина — крупные, деревянные, оригинальной конструкции, и все увешаны картинами в золотых рамах.

Громадный мезонин — мастерская.

В «Пенатах» был свой порядок.

Когда к определенному часу собирались все гости, хозяин просил к столу.

А стол большущий, белый, круглый, в два этажа, при-

чем верхний этаж вращается на оси и на нем — разные яства: что желаешь, то и бери, но мяса не ищи, не бывает.

Прислуга также садится за стол.

Перед каждым — ящик в столе; там тарелки, приборы — доставай и ставь перед собой.

Обычно выбирается председатель стола и следит за избранной для общего сужденья темой.

На этот раз темой избрали — «война и искусство», и в председатели — Репина.

Среди гостей: Евреинов, Чуковский, Щепкина-Куперник, Ясинский, профессора Павлов, Лазарев, Бехтерев и несколько академиков с супругами — все они приехали из Петрограда специально к репинской гостеприимной «среде».

Репин сказал превосходную вступительную речь о том, как трагически «молчат музы», когда идет зверское человекоубийство.

Ни один из гостей войне не сочувствовал, если бы даже победила Россия. Напротив, в этом случае все ожидали усиления реакции.

Говорили, что затяжка войны и русские неудачи на фронтах играют на руку освободительному движению, и в этом — положительная сторона войны.

Обед кончился моими стихами.

Репин аплодировал, радовался как ребенок, хвалил, к моей неожиданности, особенно разбойные стихи из «Разина».

— Вот это стихия! Земля! Цельность! Широта разгула! Вот это вольница! Вихрь бунта!

Однако, кроме Репина, Евреинова и Чуковского, никто этих восторгов не разделил.

Маститые смотрели на меня довольно грустно, даже вздыхали: вот, мол, до чего дожили, благодарим покорно!

Чуковский, всегда на людях веселый человек, предложил мне сказать экспромт, что я и исполнил:

Все было просто-нестерпимо.
И в простоте великолепен —
Сидел Илья Ефимо-
Вич великий Репин.

Словом, после этого обеда, на другой день, Репин пришел ко мне еще послушать стихов, а потом мы побрели гулять по снегу и вообще подружились.

И скоро Репин, в пять сеансов, написал мой портрет.

Я сидел в кресле репинской мастерской и читал стихи, а Илья Ефимыч делал портрет и приговаривал:

— Ну и замечательно! Браво! Ну еще, еще!

Мне нравился репинский энтузиазм. Он любил крепкий сок жизни, высоко ценил назначение искусства, жил острой мыслью.

И рассказывал Репин исключительно красочно, будто кистью писал.

Особо глубоко запомнился рассказ о том, как Репин видел публичную казнь Желябова.

Часто по вечерам собирались у Чуковского, читали стихи. Репин делал наброски пером в домашний журнал-альбом критика «Чукоккала», где было собрано множество интереснейших автографов, рисунков.

Или собирались у Евреинова, куда наезжали петроградские гости: Давид Бурлюк, Хлебников, Кульбин, Анненков, Бутковская.

Финляндская сосновая зима вытаскивала нас на улицу и катала на подкукелках, на лыжах.

Вообще жилось здравно, работалось отлично.

Я закончил свой новый труд — «Книгу о Евреинове» — и переехал в Петроград.

Своего «Разина» показывал издателям, но те шарахались, боялись.

И пока стихотворные отрывки из «Разина» печатались в «Сатириконе», где печатался и Маяковский.

Газеты, конечно, ругали «Сатирикон» за то, что в него «пролезли» футуристы.

Но мы «лезли» дальше.

Максим Горький

В это время в Петрограде бурно шумели наши левые выставки, где я также выставлял свои железобетонные поэмы, где обычно меня избирали секретарем-объяснителем.

Теперь выставка носила характерные названия — «Трамвай Б» или «№ 4», а прежде: «Треугольник», «Голубая роза», «Венок», «Ослиный хвост», «Бубновый валет».

Из художников отличались изобретательством Бурлюк, Татлин, Малевич, Экстер, Кульбин, Розанова, Якулов, Пуни, Зданевич, Ларионов, Гончарова, Валентина Ходасевич, Лентулов, Машков, Кончаловский, Филонов, Пальмов, Удальцова, Анненков, Фальк, Рождественский, Кандинский.

Шел особой, «своей стороной», как великан, громадный мастер живописи Борис Григорьев, о котором много говорили, писали.

Изумительный Филонов издал декларацию «Сделанные картины» и в ней возвещал:

Цель наша работать картины и рисунки, сделанные со всею прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу.

— Будьте прямодушны, как Репин, — взывал Бурлюк. — И Бенуа, и Репин, и все репины прошлого висят в музеях. Теперь время нового искусства. Наше время! Требуйте себе места в музеях.

Мы завоевали право висеть в музеях рядом с маститыми и ничуть им не уступим. Нас идут смотреть многие тысячи молодых и сильных, которые идут дорогой новой жизни.

Времена действительно очень существенно переменились.

Футуристы стали признанными настолько, что впервые на свет появился толстый сборник «Стрелец» как знак объединения мастеров слова.

В «Стрельце» участвовали А. Блок, Д. Бурлюк, Н. Евреинов, З. Венгерова, Л. Вилькина, В. Каменский, А. Крученых, М. Кузмин, Н. Кульбин, Б. Лившиц, А. Лурье, В. Маяковский, А. Ремизов, Ф. Сологуб, В. Хлебников, А. Беленсон, А. Шемшурин.

Так осуществилось желание А. Блока «будем вместе», как и наше.

По этому поводу большинство газет подняло бучу удивления.

Из-за границы приехал в Петроград Максим Горький, и газеты сейчас же бросились к Горькому узнать его мнение о футуризме.

В «Журнале журналов», № 1-й, было напечатано:

Максим Горький

— О футуризме.

Между прочим Горький писал в этой статье:

«Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский. Среди них есть несомненно талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину. Они мало знают, мало видели, но они несомненно возьмутся за разум, начнут работать, учиться. Их много ругают, и это несомненно огромная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом крике, в этой ругани есть хорошее: они молоды, у них нет застоя, они хотят нового, свежего слова, и это достоинство несомненное.

Достоинство еще в другом: искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу, и это они делают, правда очень уродливо, но это простить можно. Они молоды... молоды».

Вскоре после приезда Горького состоялся наш футуристический вечер в «Бродячей собаке».

«Бродячая собака» — это был литературный полуночный кабачок, организованный Борисом Прониным, самым отчаянным энтузиастом искусства.

В подвал «Собаки» еженочно собиралась петроградская богема.

Здесь была эстрада, на которой мы и выступали со стихами.

На «вечере футуристов» был Алексей Максимович Горький.

После нашего выступления он вышел на эстраду и, улыбаясь, сказал задумчиво:

— В них что-то есть...

Эту горьковскую фразу, сказанную в подвале «Собаки», встретили веселым взрывом аплодисментов, и пошла эта фраза гулять по газетам.

В общем Горький говорил то, что появилось в «Журнале журналов».

Однако мировая популярность Горького сделала то, что достаточно было и этого «в них что-то есть», как газетные критики вдруг стали вежливее, нежнее писать о нас.

Делали вид узревших свет.

Я стал бывать у Алексея Максимовича, и мы ходили с ним по левым выставкам, где я давал объяснения наших работ.

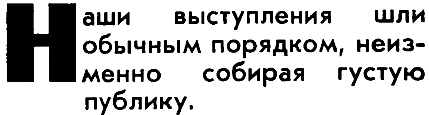
Горький горячо интересовался всем и всеми, и с ним было чудесно разговаривать.

Горьковское обаяние известно, как и все его превосходные качества большого человека.

Я лично влюбился в Алексея Максимовича сразу и навсегда.

Невероятная широта — вот что влечет к нашему любимому Максимычу.

„Бродячая собака". „Вена"



Наши выступления шли обычным порядком, неизменно собирая густую публику.

В «Бродячей собаке» состоялся «вечер пяти» — трех поэтов: Д. Бурлюка, И. Северянина, В. Каменского и двух художников: Сергея Судейкина, Алексея Радакова.

Это было сотворчество: поэты читали на фоне живописных ширм-декораций, характерных для поэзии каждого.

Радаков, например, для моих стихов изобразил понизовую вольницу с кистенями.

В этой же «Бродячей собаке» праздновался выход объединенного «Стрельца».

Здесь читал Маяковский и даже Хлебников.

А «даже» это потому, что голос Хлебникова был слаб и он выступал так: прочтет из большой поэмы десяток строк, остановится и скажет:

— Ну и так далее!

Хлебников да и мы все любили «Собаку», как и хозяина Бориса Пронина.

Пронин — этот знаменитый наворотчик — играл крупную роль объединителя всей богемы в объеме «всего мира»: размерами не стеснялся, делал это блестяще, мастерски и потому был и остался «всеобщим Борисом», другом-любимцем всех, кто жил искусством или возле него.

Когда-то Пронин работал в Художественном театре по режиссерской части, а теперь пламенно горел «Собакой» и наворачивал всякие «вечера искусства» в своем подвальном «кабачке», где всегда было жарко, тесно, шумно и талантливо.

В «Собаке» с удовольствием пропадали признанные и непризнанные гении.

Бывали там и «гости со стороны» вроде адвокатов или

коммерсантов, которых Пронин прозвал «фармацевтами».

Чтобы точно судить о Пронине, достаточно было минут десять простоять с ним у телефона, когда он по истрепанной записной книжке следил, кому и почему надо позвонить.

Вот стоишь, смотришь и слушаешь, как Борис «работает»:

— Дайте номер... — говорит Пронин. — Маришка, ты? Давай привези! Две дюжины ножей и вилок. Сегодня — футуристы! Скорей. Что за черт! Маришка, ты? Нет! А кто? Анна Ивановна? Кто вы такая? Ну, все равно. Есть у вас, Анна Ивановна, ножи и вилки? Давайте везите в «Бродячую собаку». Сегодня — футуристы! Что? Ничего не понимаете? Не надо. До свиданья, Анна Ивановна. Дайте номер... — говорит Пронин. — ...Кто? Валентина Ходасевич? Прекрасная женщина, приезжайте с супругом Андреем Романычем в «Собаку» к футуристам. Да. Будут: Григорьевы, Судейкины, Цыбульские, Прокофьевы, Шаляпины и вообще масса бурлюков. До свиданья. Дайте номер... У телефона — Борис. Слушай, Коля Ходотов, бери Вильбушевича и гони в «Собаку». Захвати Давыдова. Понял? До свиданья! Дайте номер... Это я — Борис. Аркадий Аверченко? Ждем в «Собаку» сатириконцев. Хха-ха! Кто? Василиск Гнедов? Обязательно! Хотя сегодня «вечер пяти», но Василиск Гнедов будет сверх пяти. До свиданья! Дайте номер... Борис... Кто перебивает? Что? Какого Суворина? Таких в «Собаке» не бывает. Отцепитесь! Дайте номер... Вера, привези охапку цветов и две дюжины ножей и вилок. Что? Сегодня никаких фармацевтов. Все занято. Крышка.

Такова энергия Пронина.

В результате пронинской энергии «Собака» была любимым углом поэтов, художников, композиторов, актеров.

Здесь можно было свободно выражаться, и однажды Маяковский так «выразился» с эстрады, что фармацевты запустили в него бутылками.

В смысле сборища деятелей искусства с «Собакой» конкурировала по-прежнему «Вена», но тут была чисто жратвенная тишина.

И люди в «Вене» — более солидные, спокойные, постоянные: Куприн, Арцыбашев, Аверченко, Муйжель, Лазаревский, Дмитрий Цензор, Сергей Городецкий, Шебуев, Алексей Толстой, П. Щеголев, Анатолий Каменский, В. Регинин, Осип Дымов, Рославлев, П. Потемкин, Архипов, В. Воинов, В. Князев, Чириков, Рышков, Агнивцев, Василевский-не-буква, Боцяновский, Е. Венский, Свирский.

Хозяин «Вены» И. С. Соколов кормил, «как женский монастырь не кормит архиереев» — это из стихов Куприна, посвященных «Вене» и висевших на стене ресторана.

Вообще при «Вене» образовался целый музей подобных экспромтов литераторов и художников.

И все эти ресторанные вольности висели на бывалых стенах «Вены».

Такие художники, как Бродский, Зарубин, С. Колесников, Любимов, Сварог, Радаков, Жуковский, Кравченко, делали для «Вены» наброски.

По случаю десятилетнего юбилея «Вены» этот знаменитый ресторан выпустил даже литературно-художественный сборник, где Куприн написал хозяину Соколову:

«Милый Иван Сергеевич!

Великий персидский поэт Гафиз однажды сказал:

Льву — пустыня,
Орлу — воздух,
Гафизу — духан.

К этой мимолетной, но однако полной большого смысла шуточке мне нечего прибавить, кроме благодарности вам за радушное гостеприимство, за внимание к

нам, литературным бездомникам и, в душе, всегда бродягам, за снисходительное отношение к нашим шалостям».

Истинно сказано! «Литературные бездомники» встречались только в «Вене» да в «Собаке».

Радовались и этому ресторанному объединению вечных бродяг в душе, ибо такая венско-собачья жизнь была, когда все мы, разрозненные одиночки, не знали куда сунуться, чтобы сообща застольно отвести душу.

Так «бродячими собаками» и скитались, не ведая своего товарищеского двора, где могли бы поговорить о своих профессиональных интересах без участия обязательных бутылок.

Правда, Хлебников носился с мыслью, что настало время организовать «правительство председателей земного шара» и в первую голову построить дворец для поэтов, но это было лишь фантастическое утешение «бездомных бродяг».

И пока что мы бродили по гостям.

То собирались у Валентины Ходасевич, то у Бориса Григорьева, то у Кульбина, то у Евреинова, то у Н. А. Тэффи.

Ездили в Царское Село к Гумилеву и Анне Ахматовой.

Бывали у Алексея Ремизова, где встречали Евгения Замятина, М. Пришвина, А. Н. Толстого, Иванова-Разумника, Чапыгина.

Ужинали «со стихами» у Федора Сологуба, где читали А. Блок, М. Кузмин, Вяч. Иванов, Гумилев, Городецкий, Сологуб, Андрей Белый.

Но, признаться, все они декламировали неважнецки: с каким-то мистико-ритмическим завыванием на концах строк. Эта однообразная манера чтения была в то время «модой» тоски жизни... в этих кругах.

Мы-то, зычные ребята, читали, то есть таранили словами, совсем по-иному, как атлеты тяжелого веса.

И никакой тоски жизни мы не чувствовали, а просто ликовали за счет будущего, веруя в перспективу великолепных возможностей.

Ни один из нас не был пессимистом: мы жили энтузиазмом без берегов, мы шли от мощи здоровья, от сознания своих свободных убеждений, мы искренно верили в ниспровержение существующего строя.

И мы были легки и перелетны на подъем, как птицы: из города в город перелетали со скоростью почтовых голубей.

И всюду не зря: читали лекции, стихи, диспутировали, будоражили «мирное население», печатали сборники.

В очередь, например, выпустили новый сборник «Весеннее контрагентство муз», где, кроме стихов, появились ноты новой музыки композитора Николая Рославца.

Где Николай Асеев писал о войне:

Пядь за пядью все реже, реже там
Встают, шатаясь, озябшие кости,
Кричат: вы горы, зажатые скрежетом
Зубов железных, на нас не бросьте!

Где Борис Пастернак видел Москву такой:

Она гремит, как только кандалы
Греметь умеют шагом арестанта,
Она гремит и под прикрытьем мглы
Уходит к подгородным полустанкам.

Сумерки сгущались, обагренные кровавым заревом заката старой России.

Кому-то от этого было плохо, кому-то очень хорошо.

А мне совсем распрекрасно: мигом я перелетел в уральскую рощу летней Каменки, раскинул лыковый шатер на берегу Сылвы и, покуривая, посиживая с удилищем, подумывая о происходящем, стал ожидать лучших дней.

Барометр моих предчувствий поднимался к совершенно ясной погоде.

Пока мне хотелось немногого: осенью 1915 года напечатать роман «Степан Разин», потому что эта беременность, во-первых, натяготила живот, а, во-вторых, мое опытное чутье предвосхищало соответствующую конъюнктуру для подобных затей.

Только теперь, при всеобщей ощетиненности военной России, когда, с одной стороны, раздувался невероятный патриотизм «за царя и отечество», а с другой — шла явная раскачка умов и сердец в сторону возрастающих вольностей (я уж не говорю о широком росте подпольной политической агитации среди рабочих и солдат), теперь мне стало ясно, что появление на свет «Степана Разина» обеспечено временем.

Время работало в пользу революции.

Даже футуризм — это «страшное» движение — получил все права гражданства, и отныне футуристы считались признанными пророками.

А раз так — в отступлениях романа я еще острее подчеркнул «поэтические» предчувствия неизбежности именно пролетарской, «сермяжной» революции.

В этом — суть «Разина» как символа великого бунта крепостной голытьбы.

В этом — смысл работы: подсказать каждому рабочему или крестьянину, что их любимый герой-атаман Степан Тимофеевич жив и живет во всяком, кто бьется за волю и землю, кто обижен фабрикантами и помещиками.

О, будь иное время, я сделал бы книгу по-иному, по-настоящему, как надо, а то, сгорая нестерпимым желанием скорей выпустить труд, мне пришлось (по условиям цензуры) сработать роман в чересчур «русском духе» относительной приемлемости.

Кстати, следует иметь в виду и то обстоятельство, что

в русской истории, как известно, Степан Разин подавался в качестве злодея-разбойника.

И, значит, тем менее надежд было у меня увидеть «Разина» напечатанным.

Однако я закончил книгу вполне, как закончил целый ряд новых вещей.

В конце лета получил петроградский журнал Ховина «Очарованный странник», где в первый раз в жизни в статье «Василий Каменский» критик Борис Гусман отнесся ко мне по-человечески трогательно, чем и удивил: вот до какой степени я не был избалован благожелательностью критиков.

„Судьба русской литературы"

Лето на Каменке кончилось, как обычно, сплошной охотой.

В Москву приехал с таежными глазами, с черноземными силами, с литературной добычей, с разинскими думами.

Посмотрел вокруг — противно: Москва — не Москва, а лагерь военный.

Так бы и рявкнул:

— К черту войну!

Давид Бурлюк обрадовался:

— Издавай «Разина». Пора подходящая. Действуй. Пахнет растерянностью. Цензура слабеет. Дышать легче.

И пока что мы выпустили «Четыре птицы» — Бурлюк, Золотухин, Каменский, Хлебников.

Золотухин — из второго поколения футуризма, как и Давид Виленский, Григорий Петников, Дмитрий Петровский, С. Вермель.

С помощью Золотухина я нажал на издание «Разина», и вот в ноябре 1915 года, с грехом пополам (цензура

много острого выкинула), роман, наконец, вышел в счастливый час: книгу встретили восторженно.

В три недели весь «Разин» разошелся.

Но повторить издание цензура не позволила, так как суворинская газета «Новое время» и другие черносотенные газеты требовали для автора «Разина» участи атамана на Лобном месте.

Это окончательно разожгло успех.

Я и теперь думаю, что не себе обязан этим громадным успехом, а черному, тяжкому времени царизма, когда каждый проблеск мысли расценивался преувеличенно высоко.

А «Разин» смело предсказывал неизбежность близкой революции — в этом и была суть удачи автора.

Ватага футуристов не зря появилась на крутых берегах в дни тюремной действительности.

Нас — «разбойников» — строго судили и жестоко гнали, но мы упорно сделали свое дело, чего и другим желаем.

Отныне футуризм как бы завершил групповую орбиту.

Мы вступили в новую фазу вполне самостоятельного монументального мастерства: теперь каждый из нас делал отдельные книги, независимо выступал с лекциями-стихами, печатался где хотел.

Наш энтузиазм не остывал.

И поэтому наши мускулы действий крепли для работы дальше.

Из Москвы я уехал в Петроград на свиданье с Маяковским и Хлебниковым.

И, конечно, сразу же очутился на штабной квартире петроградского футуризма у Осипа и Лили Бриков, где постоянно собирались Маяковский, Хлебников, Шкловский, Рюрик Ивнев, Ховин, Эльза Триоле.

Осип Брик — наш новый друг — играл роль энергич-

ного теоретика футуризма, превосходно писал о наших достижениях, возносил Маяковского и напечатал его «Флейту-позвоночник» и «Облако в штанах».

Бывать в штабе у Бриков стало делом культуры и удовольствия.

Здесь мы читали новые вещи, обсуждали текущие затеи, возмущались военной чертовщиной, ждали революцию.

Виктор Шкловский, этот начиненный снаряд, разрывался парадоксальностью, острыми мыслями об искусстве, проявлял крупные способности новой формации.

Лично для меня Шкловский был примечателен тем, что, прослушав мои вещи, говорил комплименты, собирался обязательно написать обо мне и до сих пор не устает собираться...

И такой же компактный снаряд, как Осип Брик.

Недаром этих двух очень боялся Хлебников и, по дороге от Бриков, говорил мне:

— Я больше к ним не пойду.

— Почему?

— Боюсь.

— Чего?

— Вообще... у них жестокие зубы.

Но Хлебников приходил, читал стихи и загадочно посматривал на зубы Брика и Шкловского.

Как известно, Хлебников был одержим математикой, цифроманией. Мы в этом ничего не понимали.

Поэтому Брик однажды созвал ученых-математиков к себе, и Хлебников прочитал доклад «О колебательных волнах 317-ти».

По Хлебникову число 317 было законом колебательного движения государств, и народов, и событий, и войн, и толп, и даже отдельных душ и отдельных поступков.

Хлебников доказывал математикам (у Брика) связь между скоростью света и скоростями Земли солнечного

мира, связь, заслуживающую названия «бумеранг в Ньютона».

После хлебниковских уравнений выходило, что площадь прямоугольника, одна сторона которого равна радиусу Земли, а другая — пути, проходимому светом в течение года, равна площади, описываемой прямой, соединяющей Солнце и Землю, в течение 317 дней.

Переходя затем к волнениям отдельных душ, поэт-математик доказывал, что жизнь Пушкина дает примеры колебательных волн через 317 дней.

Например, свадьба Пушкина состоялась на 317-й день после помолвки с Гончаровой.

Смелость хлебниковских уравнений в отношении закона души одного человека привела ученых в состояние опасного психомомента, и они ушли с несомненным бумерангом в головах.

Ибо никак не могли связать уравнения опытных наук со свадьбой Пушкина.

Только один профессор, надевая галоши, молвил:

— А все-таки это гениально.

Вскоре после вечера математики Маяковский — Брик выпустили журнал «Взял», где Хлебников и напечатал свой бумеранг в Ньютона.

Маяковский заявил во «Взяле»:

— Сегодня все футуристы. Народ — футурист. Футуризм мертвой хваткой взял Россию. Да, футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Голос футуризма, вчера еще мягкий от мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди.

Энтузиазм получал новые подкрепления. Хотелось двигать горами, хотелось по-разински ахнуть кистенем по башке николаевской России, хотелось скорей приблизить шаги революции.

И эти шаги ощущались всеми, кто понимал все вокруг совершающееся.

События тучами на горизонте множились, росли, сгущались.

Искусство омертвело.

Весь мир был занят спешным самоубийством и стоял по колено в крови.

Фокус общественности сосредоточился на Государственной думе, где занимались политической критикой царского правительства, где по-прежнему «героем дня» являлся черносотенец Пуришкевич.

Деятели искусства поголовно спасались от войны всяческими изворотами: ни один из нас не сочувствовал мировому самоубийству.

Однако очередь «ратного ополчения» доходила до меня.

Сначала я уехал в Москву.

Тут мы издали толстый журнал «Московские мастера» с красочными репродукциями.

Но это не спасало от фронта.

Я угнал в Крым, мечтая о миролюбивой Персии.

Жил «на всякий случай» в Новом Симеизе.

Жил с «футуристом жизни» Гольцшмидтом, который тоже спасался.

Мы читали лекции в Ялте, Алупке, Симеизе, бродили по горам, подыскивая «отступление», купались, как дельфины.

Словом, мы не унывали.

Перед каждой лекцией ялтинский полицеймейстер Бузе вызывал меня в полицию и брал подписку, что стихов о «Разине» читать не буду.

Но я читал «по требованию публики», и лекции запретили.

В Алупке тогда жили Алиса Коонен и А. Я. Таиров.

В Ялте — композитор Ребиков.

В Ялте нередко гостил я на даче А. Чехова, у его сестры Марии Павловны.

У Чехова постоянно собиралась молодежь, и мы за чайным столом с пирогами (пироги стряпались, какие любил Чехов) читали, пели, веселились.

В чеховском вишневом саду распевали стихи.

Мое «пребывание на курорте» кончилось тем, что однажды меня вызвали в полицию, показали свежий номер «Нового времени», где было напечатано, что «автору «Стеньки Разина» не место проживать рядом с Ливадией» (царским дворцом), и мне предложили убраться.

Пришлось переменить курорт.

Мы с Гольцшмидтом переехали в Кисловодск, где занялись лекционными выступлениями.

Но здесь выступать стало жутковато. Кисловодск был переполнен военщиной, и к нам постоянно приставали офицеры: почему мы не на войне?

А у нас, на беду, и вид был самый что ни на есть гвардейский, с ядреным мясом для пушек.

Да только война нас никак не устраивала.

Едва изворачивались, но все-таки вывертывались: наши годы здесь, на Северном Кавказе, уже считались мобилизованными.

Именно — здесь.

Но мы себя здешними не считали и в этом смысле вообще были нездешними.

Один коварный случай чуть не подвел нас под солдатский станок.

Дело в том, что атлет Гольцшмидт читал в Железноводске лекцию о физкультуре — «Солнечные радости тела».

И, как обычно, после лекции проделывал опыты концентрации силы: ловким ударом честно разбивал об свою голову несколько толстых досок.

Этим экспериментом заинтересовалась группа подвыпивших офицеров.

Офицерская компания явилась за кулисы к Гольцшмидту и потребовала показать еще не расколотые об голову доски.

Гольцшмидт показал.

А офицеры почему-то решили, что доски предварительно склеены, что это обман.

Обиженный Гольцшмидт резонно ответил:

— Раз вы не верите, попробуйте об свою голову.

Один из офицеров принял вызов, желая, очевидно, осрамить Гольцшмидта.

Офицер сел на стул, взялся за края доски, раскачал и со всего маху дернул плашмя по своей лысой башке.

И, выпучив глаза, повалился на пол.

После столь неудачной офицерской пробы, предвидя скандал, мы предпочли ретироваться.

И действительно, сейчас же распространились слухи, что футуристы избили доской по голове какого-то офицера.

Мы переехали на третий «курорт» — в Тифлис, где и утвердились благополучно.

Старая Россия разваливалась вдрызг.

Об этом писали, говорили открыто.

Все жили подъемом, весело жили.

После ряда выступлений я издал здесь книгу стихов «Девушки босиком».

Молодой тифлисский критик Борис Корнеев, с неожиданной смелостью напечатав несколько статей, раскрыл революционно-политическое кредо русского футуризма.

За Борисом Корнеевым пошли и другие критики восхвалять футуристов как «могучих поэтов-борцов современности», как закаленных энтузиастов «из свободной страны будущего».

В солнцедатном Тифлисе в смысле газетных встреч и густых выступлений жилось превосходно.

Здесь по-настоящему любили поэтов и так кахетински принимали, что голова ходила лезгинкой.

Ого! Грузины умеют чтить поэзию!

Недаром в Грузии много своих поэтов.

Как раз тогда блестяще шумела грузинская группа поэтов-новаторов под именем «Голубые роги», это: Робакидзе, Яшвили, Табидзе, Гаприндашвили, Гришашвили.

А у армян был свой футурист — Кара Дарвиш.

И мы, поэты, жили в тесной дружбе.

Неожиданно в Тифлис приехал Куприн прочитать лекцию «Судьба русской литературы».

Я был изумлен: Куприн никогда не читал лекций, никогда не гастролировал.

Но в первую же минуту нашей приятельской встречи Куприн объяснил:

— Ты удивлен? А удивительного ничего: в Петрограде не продают ни капли вина. Запрещено. А тут мы разговеемся и спляшем лезгинку. Сначала пойдем в цирк на французскую борьбу к нашему волжскому бурлаку-богатырю Ивану Заикину, а оттуда втроем в духан.

— А как же насчет лекции «Судьба русской литературы»?

— Ну, в этом виноват мой антрепренер Долидзе. Я ему говорил, что не умею читать лекций. Впрочем, как-нибудь справимся. Начну со встреч с Толстым, Чеховым, Горьким и кончу футуристами.

Поехали в цирк.

Куприн купил бурдюк вина и после «парада всемирного чемпиона» поднес при публике Ивану Заикину.

Куприна и меня выбрали в жюри по наблюдению за борьбой, а предварительно мы приложились к бурдюку.

За столом жюри Куприн шептал мне:

— Судьба русской литературы очень загадочна...

Что я буду читать? Не знаю. Если сказать, что в Петрограде ждут революцию, меня арестуют. Черт его знает, что вообще происходит в России. Николай, говорят, пьянствует с горя: скоро ему крышка, честное слово.

Борьба кончилась, и мы втроем покатили в духан.

Там, в родной атмосфере, разговевшийся Куприн и бывший саратовский крючник, а ныне чемпион мира Заикин так широко разгулялись, что духан «Симпатия» извергался вулканическим пиром: все столы соединились в один, все горели в речах, в лезгинке, в сазандари.

Грузины стреляли в потолок.

«Русская литература» пировала бесшабашно.

За день до лекции, в три часа ночи, мы с Куприным шли по Михайловской улице и вдруг слышим: из подвального этажа доносится монотонное церковное чтение.

— Это читают по покойнику. Пойдем проститься, — сказал Куприн и шмыгнул в подвал.

Я — за ним.

Постучали.

Впустили.

На столе лежала покойница-старушка.

Около, со свечой, читала монашка.

Куприн подошел к покойнице, поцеловал ее в лоб и тихим голосом произнес речь:

— Прости, дорогая сестра, нас, несчастных бродяг, русских писателей, шляющихся по ночам нашей бездомной действительности. Не суди нас, бесправных и потерянных. Ты кончила жизнь в бедном подвале. Ну что ж? Не лучше кончим и мы, одинокие скитальцы по дорогам литературным, по дорогам загадочным. Что нас ждет? Не все ли равно. В жестокое время крови мы об этом не думаем. У каждого свой короткий путь, и все мы бродим вразброд, но путь к смерти — один, и на этом пути мы встретимся. Прости.

На улице Куприн продолжал свои мысли:

— Ну, ладно... Ну, мы — именитые писатели, а она — старушка из подвала. Но, по существу, разницы, брат, никакой. Все на свете очень условно. Когда я был в Ясной Поляне у Толстого, великий старик поразил меня мужицкой простотой обыкновенного человека земли. Ах, как он говорил о жизни и смерти. Нет, этого нам не передать. Мы не такие, мы не умеем быть такими. Мы заняты художественной литературой и думаем, что это очень важно... Скучно, брат, очень скучно так думать... Не мудро...

На другой вечер состоялась лекция «Судьба русской литературы».

В переполненный зал консерватории Куприн явился в большом тумане.

Сперва публика встретила знаменитого писателя пламенно-приветственно.

Лектор начал с заявления:

— Вы пришли слушать серьезную лекцию, но я лекций никогда не читал. Это не моя специальность. Я могу только рассказать попросту... Прошу не взыскать... Как умею... Но никакой лекции не ждите, лекции не будет...

В зале произошло смятение.

Кто-то крикнул:

— А «Судьба русской литературы»?

— А на афише...

— Вас интересует, — мутно смотрел на публику Куприн, — судьба? Но судьба совсем не в лекции. Вот в первом ряду сидит мой друг Вася Каменский; он может читать лекции, а я не могу.

Раздался смех и шум. Кричали:

— Безобразие!

— Вот так судьба!

Я обратился к публике:

— Никакого безобразия нет. Поймите, что Александр Иванович желает рассказать именно о судьбе русской

литературы, но не в форме научной лекции, а в плане беседы. Это интереснее сухой лекции.

Но Куприн разобиделся за крики «безобразие!» и заявил:

— Кому не нравится, тот может получить билеты обратно и вернуться домой спать.

Тут поднялся переполох: часть публики сорвалась с мест и бросилась к кассе.

Часть осталась.

Куприн тяжело вздохнул:

— Вот в том и судьба литературы, что она мало кому понятна. В разные времена ее разумели по-разному. Толстой, например, отказался от художественной литературы, а Толстой был мудрец. В наши смутные дни эта судьба стала жалкой, несчастной... Никто не знает, что произойдет завтра... И вся судьба переменится... Придет другая жизнь... Вы понимаете — не могу говорить... Нельзя... Я лучше расскажу о своей встрече с Толстым.

И Куприн блестяще начал рассказывать о своей поездке к Толстому, но когда дошел до описания толстовских собак, из публики загалдели:

— При чем тут собаки! Довольно!

— Как при чем? — удивился Куприн. — Да собаки — изумительные друзья человека. Разве можно не любить собак, этих прекрасных животных!

Тогда с негодованием и фырканьем поднялась еще часть публики и ушла с руганью.

Грустными татарскими глазами посмотрел Куприн вслед уходящим:

— Нет, ничего не выходит. Я попробую вам, немногим, прочитать какой-нибудь свой рассказ.

И автор приступил к чтению «Изумруда».

Однако после первой страницы и оставшаяся часть слушателей стала с шумом расходиться.

В результате около Куприна остались Заикин да я.

Так кончилась «судьба русской литературы».

Во всяком случае, апофеоз лекции явился для Куприна убедительным поводом завить горе веревочкой в ближайшем духане «Грустный орел».

Александр Иванович не унывал:

— В духане куда лучше. И публика тут никакими судьбами не интересуется. Очень приятно, тепло и весело.

Через день Куприн уехал в Петроград с тремя бурдюками кахетинского.

Февральская революция

Внешние и внутренние события стремительно толкали Россию на путь революции.

Не было человека вокруг, кто бы сомневался в скорой неизбежности государственного переворота.

Романовский престол висел на ниточке.

А потому жилось празднично-весело.

Хотя мои годы были давно угнаны на фронты, но теперь я чувствовал себя самодемобилизованным, ибо пользовался уже именем и ничего не боялся.

Побывал с лекциями-стихами (всюду базировался на «Разине», как революционной пропаганде, и открыто нажимал на политическое кредо футуризма) в Кутаисе, Батуме, Поти, Сочи, Новороссийске, Сухуме.

Полиция придиралась упорно, но я спокойно показывал роман «Разин», вызывая немалое удивление вооруженных архангелов общественного спокойствия.

Отчитался в Екатеринодаре, Армавире.

На армавирское выступление неожиданно явился Евреинов; он приезжал в Сухум из Петрограда.

От Евреинова я услышал, что вот-вот в Петрограде разразится революция.

Я поспешил в Ростов.

В ростовской гостинице полицейская облава потребовала паспорт и «отношение к воинской повинности».

Ввиду моего отрицательного отношения к тому и другому я заявил, что документы потерял и гордо показал свои афиши.

Афиши не убедили полицию, и меня поперли к градоначальнику.

Его превосходительство сидело за столом в крайне опечаленном, расстроенном виде и тихо спросило:

— Что вам угодно?

Я сообщил о случившемся несчастии с документами, развернул афиши и обратился с просьбой разрешить мне лекцию в Ростове.

Градоначальник, не читая афиши, подписал: «Разрешаю».

В этот момент ввалился полицеймейстер:

— Ваше превосходительство, все арестные помещения переполнены дезертирами. Прибывают новые партии. Куда их деть, положительно не знаю. Дезертирская наглость дошла до того, что в самом полицейском управлении мы арестовали сейчас шестнадцать человек.

В ответ градоначальник молча протянул полицеймейстеру три большие телеграммы.

Я не уходил: надо было добиться другого разрешения — проживать в гостинице без документов.

Полицеймейстер, пробежав телеграммы, беспомощно, остолбенело опустился в кресло, сразу побледнев.

Тут я понял, что дело неладно, что, очевидно, произошли важные события.

Градоначальник, не обращая внимания на мое присутствие, тихо сказал:

— Если это разрешить напечатать «Приазовскому краю», черт знает что завтра здесь произойдет. Положение катастрофическое. Беда...

Полицеймейстер достал большой белый надушенный платок и приложил ко лбу:

— Да... ужас...

В кабинете запахло духами.

Я смотрел на огромный портрет Николая в толстой золотой раме и думал: «Вот и довисел».

А сам от радости встать не мог с кресла.

— Но, с другой стороны, — замогильно продолжал градоначальник, — это совершившийся факт... Газета не выходит второй день, и там все знают о положении... Телеграф в руках Государственной думы... Мы совершенно бессильны... Конец...

Не помня себя я выбежал, вскочил на извозчика и помчался в редакцию «Приазовского края».

Около редакции стояла толпа.

Я влетел по лестнице: в редакции не работали, стояли в возбуждении, весело покуривая.

Здесь и узнал из необнародованных, задержанных телеграмм о совершившемся факте Февральской революции.

При мне же, через полчаса, от градоначальника было получено разрешение напечатать все телеграммы о событиях в Петрограде.

О, что тут делалось — невообразимо: все давай жать руки друг другу и целоваться.

Газету выпустили кратким экстренным выпуском.

Листы газетные разлетались, как снег в метель.

Народ высыпал на улицы.

На заборах, на домах, на телеграфных столбах появились свеженаклеенные листовки большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов.

С пением марсельезы, с красными флагами пришли в центр рабочие массы.

Ораторов подымали на руки.

Огненные речи жгли до слез.

Я тоже говорил до хрипоты, говорил в разных пунктах и в одном месте во время речи заметил: на углу в толпе, в штатском черном мерлушковом пальто, стоял и слушал знакомый — это градоначальник.

Футуристическую лекцию, объявленную в театре, я заменил революционным митингом.

Так было в Новочеркасске, на родине Степана Тимофеевича Разина, где я первый организовал вместо назначенной лекции митинг.

Здесь слова и стихи о Разине принимались взрывами энтузиазма.

Один из казаков-ораторов требовал почему-то повесить мой портрет в зале судебных установлений.

Это предложение приняли единогласно, но исполнили или нет, не знаю.

Я уехал в Харьков. И там устроил в оперном театре митинг революционного футуризма.

26 марта в Москве, в театре «Эрмитажа», организовал «Первый республиканский вечер искусств», на котором выступали кроме меня Бурлюк, Маяковский, Василиск Гнедов, Рославец, Лентулов, Жорж Якулов, Татлин, Малевич.

Все говорили о необходимости вынести мастерство на улицу, дать искусство массам трудящихся, ибо эти демократические задания всегда входили в программу футуризма.

Во славу вершинных горений
                Действуй подвижником
На людской арене,
                Если поэт умен — мости
                Словом,
Как булыжником,
                Улицу великой современности.

И опять, как всегда и везде, наша аудитория наполнилась бурной молодежью.

Крепость неизменных сердец преданной армии попрежнему шла за нами, и не было пределов ее возрастанью.

Теперь, когда мы освободились и раскрыли свои левые политические убеждения, молодежь бушевала вокруг нас еще гуще, спаяннее, раздольнее.

Однако этой армии юности было нам недостаточно.

Мы еще не испытали сил, по причинам полицейского запрета, среди рабочих.

С этой целью я уехал из Москвы на Урал, в Невьянские и Нижнетагильские заводы, где и выступил с широким успехом.

Рабочие никогда не видели «в живых» писателя, поэтому горячее внимание ко мне удвоилось.

С особым волнующим интересом я выступал в том самом Нижнем Тагиле, где в 1905-м я стал во главе исполнительного забастовочного комитета.

К моей приятности, многие помнили мою политическую деятельность, и мы, к взаимному удивлению «воскресшие из мертвых», дружески разглядывали друг друга.

Испытание и здесь прошло превосходно: рабочие щедро благодарили за приезд и просили не забывать их и дальше.

Я двинулся с лекциями в Екатеринбург, в Пермь и, наконец, на лето глядя, утянулся в свое хвойное гнездо, на Каменку.

А тут своя жизнь:

Луга, поля да бор сосновый
И солнечная голубель.
И я, как будто домик новый,
Залег в лесную колыбель.

Залег на отдых медведем в берлогу.

Люблю намотаться так, чтобы ноги еле волочились, и потом нежно отдохнуть.

А отдых энтузиаста — новые стихи.

За это дело и взялся — к осени сработать книгу стихов «Звучаль веснеянки».

Дай бог здоровья
Себе да коням —
Мы на работе
Загрызем хоть кого.
Мы не сгорим,
На воде не утонем,
Станем — два быка — вво!

И опять же хозяйство: брат с женой целые дни в полях, а я на «ниве литературной».

Или у костра — на рыбалке ночной.

Летний день у нас — не меньше двадцати часов, но и эта лента времени коротка для сплошных затейщиков.

Спать не люблю,
На черта сны слепые,
Которые лишь злят,
Жизнь воруя зря.
Мне дороги
Минуточки лихие,
Как сенокосный час
Для косаря.

Так вот и цвело лето в стихах — не знал куда деваться от песен, да еще птицы кругом этим же занимались.

Слушайте, птицы:
Чего же проще —
Возьмите
Поэта в артель.
В самой
Маленькой роще
Я могу
Завернуть завертель,
И не хуже
Щегла-репейника.
По-нашему —
Вроде Гейне как.

Будоражила мысль: орадостить мир гимнами неисчерпаемой бодрости для великих дел совершенства бытия.

Ведь недаром хотелось не стихами, а солнцепадом будить сердца:

Чурли, журчей,
Бурли жарчей!
С скалистых глыб
Вались со смехом
И в чернолапах
Диким эхом
Пугай бегущих рыб.

От трепета лирика бросался к разинскому запеву:

Груди гордые выправив
В ожидающем трепете,
Струги стали на выплави,
Как на озере лебеди.

Томила боль ожидания.
Впрочем:

Да болит не столь,
Не кричи, не лазь, —
Лишь бы серая голь
Не кручинилась.

Пора пришла:

Времечко настало дивное —
Дивные вершить дела.
Лейся, песня переливная,
Закуси, конь, удила.

Чтобы отныне

И во веки веков
Снять железо оков
С батраков.

Радуга оптимизма перекинулась от разинских идей к порогу нашего времени.

И сегодня —
В полете волнений,
Вспоминая Степана привычку,

Станем
Праздновать тризну гонений,
Распевая:
Сарынь на кичку.

Меня волновало что?

Дать волю выпирающим, брызжущим силам творчества, да так размахнуться, чтобы за душой ни копейки долгу не оставалось.

Чтобы молодость не жаловалась.

Меня волновало что?

Безудержная любовь к сущности жизни, стремление пронзить этой стихийной любовью всех несчастных, кто карабкался в буднях бытия и был забит судьбой, как гвоздь в стену.

И это теперь, когда

На крыльях рубиновых,
Оправленных золотом,
Я развернулся уральским орлом, —
В песнях долиновых
Солнцем проколотым
Полетел на великий пролом.

Думал: ведь не зря же, в самом деле, существуют на свете поэты.

Мы с того начали, чтобы извергнуть вулканическую бодрость во имя великолепных дней на земле нового мира.

А земля нового мира, разумеется, никак и никогда не представлялась нам в виде либеральной буржуазной республики, заменившей монархию.

Известно, что буржуазия травила нас не меньше, чем мы ее.

Буржуазия открыто ненавидела нас, как и мы ее.

Буржуазия гнала, преследовала нас.

Поэтому Февральская революция дать нам ничего, кроме подзатыльника, не могла.

Мы это отлично знали, как и то, что наши всегдашние политические симпатии жили на стороне рабочего класса, а ныне эти симпатии вылились в форму убеждений: большевики влияли основательно.

Правда, вышедшие из разночинцев, мы никогда не были пролетарскими поэтами, и пусть мало разбирались в идеологии научного марксизма, но мы всегда действовали в интересах революционного пролетариата, начиная с 1905 года.

В этом признании нет никакой натяжки или примазывания, ибо вся наша деятельность была на виду и многие произведения говорят за нас.

Что до меня — достаточно и «Степана Разина».

Работа убедительная.

Отсюда и размах безудержный, и восторженность, в борьбе выкованная, и песня, как дрова в поленницу сознательно сложенные.

И вообще — энтузиазм без берегов.

Поэтому нет ничего удивительного, что еще за два месяца до октябрьских событий, когда я прибыл в Москву, мы органически вошли в круговорот интересов большевистской партии.

Отныне с восторгом ожидали близкого восхождения солнца новой эры.

Жили как на горной вершине и первыми видели веер зари.

Кафе поэтов. Сергей Прокофьев

Жажда тесного объединения новых поэтов, художников выросла до пределов необходимости немедленной организации клуба-эстрады, где мы могли бы постоянно встречаться и демонстрировать произведения в обстановке товарищеского сборища.

Кстати, мы имели в виду и гостей с улицы.

С этой целью я с Гольцшмидтом отыскали на Тверской, в Настасьинском переулке, помещение бывшей прачешной и основали там первое «Кафе поэтов».

Сейчас же явились туда художники Давид Бурлюк, Жорж Якулов, Валентина Ходасевич, Татлин, Лентулов, Ларионов, Гончарова — и давай расписывать по общему черному фону стены и потолки.

На стенах засверкали красочные цитаты из наших стихов.

Бурлюк над женской уборной изобразил ощипывающихся голубей и надписал:

Голубицы, оправляйте перышки.

Даже Хлебников взялся за кисть и желтой краской вывел на фанере:

Там мотри, мотри за горкой
Подымается луна.
У счастливого Егорки
Есть звенящие звена.

С первого же часа открытия в «Кафе поэтов» повалила густая лава своей братии и публики с улицы.

Как именинный пирог, набилась наша расписанная хижина.

Гости засели за двурядные длинные столы из простых досок.

И вот на эстраде загремели новыми стихами поэты.

Тут же, на особом прилавке, продавались наши книги.

Сама публика требовала:

— Маяковского!

И Маяковский выходил на эстраду, читал стихи, сыпал остроты, горланил на мотив «Ухаря-купца»:

Ешь ананасы,
рябчиков жуй!
День твой последний
приходит, буржуй!

Публика кричала:

— Хлебникова!

Появлялся Хлебников, невнятно произносил десяток строк и, сходя с эстрады, добавлял свое неизменное:

— И так далее.

Публика вызывала:

— Бурлюка! Каменского!

Я выходил под руку с «папашей», и мы читали по заказу.

Вызывали и других из присутствующих: Есенина, Шершеневича, Большакова, Крученых, Кусикова, Эренбурга.

Требовали появления Асеева, Пастернака, Третьякова, Лавренева, Северянина.

Выступали многие, и с видимым удовольствием: здесь умели принять.

Наша эстрада была объявлена свободной для всех желающих показать товар лицом.

Поэтому часто из публики выходили на арену стихобойни разные молодые люди из начинающих и гордо подносили свои пробы пера.

Присутствующие драматические актеры декламировали наши поэмы (В. К. Сережников, В. И. Качалов, Е. В. Максимов), а оперные пели «Что день грядущий нам готовит».

А грядущий день готовил много неожиданной пищи...

Но немногие из пестрой богемы разбирались в грядущем, довольствуясь беспечностью сегодняшнего дня.

Правда, иные мастера выступали на эстраде с новыми декларациями, но они были вне политики.

Например, Жорж Якулов с горячим темпераментом говорил с эстрады о том, как он строит на Кузнецком «мировой вокзал искусства» (новое филипповское кафе «Питтореск»), с барабана (арены) которого будут возвещаться «приказы по армии мастерам новой эры».

С мирового вокзала искусства пламенный Якулов собирался отправлять в степь человечества «экспрессы новых достижений художеств» .

Такой же мечтатель Хлебников, поддерживая вокзальную затею Якулова, намеревался созвать в «Питтореск» всех «председателей земного шара», чтобы, наконец, решить «судьбу мира».

Между прочим, приехавший из Петрограда Евреинов рассказывал, что там был устроен грандиозный карнавал искусств: писатели, художники, композиторы и актеры на разубранных цветами автомобилях праздничной длинной вереницей двигались по Невскому.

Эту автомобильную вереницу карнавала заканчивал большой грузовик, на борту которого мелом было написано:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА.

На грузовике, в солдатской шинели, сидел сгорбленный Хлебников.

И теперь Хлебников собирался в нашей хижине обнародовать новый манифест по случаю предстоящего съезда «председателей земного шара».

Вообще насчет неожиданностей—недостатка не ощущалось.

В один из вечеров в «Кафе поэтов» явился молодой композитор Сергей Прокофьев.

Рыжий и трепетный, как огонь, он вбежал на эстраду, жарко пожал нам руки, объявил себя убежденным футуристом и сел за рояль.

Я заявил публике:

— К нашей футуристической гвардии присоединился великолепный мастер — композитор современной музыки Сергей Прокофьев.

Публика и мы устроили композитору предварительную овацию.

Маэстро для начала сыграл свою новую вещь «Наваждение».

Блестящее исполнение, виртуозная техника, изобретательная композиция так всех захватили, что нового футуриста долго не отпускали от рояля.

Ну и темперамент у Прокофьева!

Казалось, что в кафе происходит пожар, рушатся пламенеющие, как волосы композитора, балки, косяки, а мы стояли готовые сгореть заживо в огне неслыханной музыки.

И сам молодой мастер буйно пылал за взъерошенным роялем, играя с увлечением стихийного подъема.

Пер напролом.

Подобное совершается, быть может, раз в жизни, когда видишь, ощущаешь, что мастер безумствует в сверхэкстазе, будто идет в смертную атаку, что этот натиск больше не повторится никогда.

В те годы Прокофьева, конечно, тоже не признавали критики.

Ну а мы сразу торжественно окрестили Прокофьева гением — и никаких разговоров.

Он эту обжигающую искренность чувствовал и разошелся циклоном изо всех потрясающих сил.

Потому и не забыть этого знаменательного вечера.

Да, здесь, в «Кафе поэтов», умели встретить, поддержать, окрылить всякого, кто желал показать свою работу крепкого современного мастера.

И не только поэты, композиторы, художники, актеры выступали на эстраде кафе, но и сама публика, зашедшая с улицы, принимала энергичное участие в общих оценках того или иного выступления.

Были и такие эстеты, которые крыли нас за ломовщину футуризма (особенно — Маяковского), за разбойное уничтожение «изящного» искусства, за революционные стихи в сторону большевизма.

Однако этим эстетным рыцарям возражала сама же публика из числа друзей футуризма, доказывая правоту нашей прямой и твердой линии.

Октябрь

Еще накануне первых выстрелов октябрьских событий я проходил по Скобелевской площади и видел такую картину: против бывшего губернаторского дома стоял большой отряд юнкеров, и на этой же площади, против гостиницы «Дрезден», где находился штаб большевиков, стоял отряд солдат в истрепанных шинелях.

В губернаторском доме происходило, очевидно, важное заседание представителей Временного правительства.

Вся Москва ожидала выступления большевиков, но обывательское население было спокойно и серьезного значения этим слухам не придавало.

Однако картина на Скобелевской площади была достаточно убедительным доказательством, что отныне жизнь разделилась на два враждебных лагеря, что вот-вот они повернутся лицом к лицу.

В самый день выступления большевиков, часа в три, я вышел из своей квартиры, с Малой Дмитровки, направляясь на Воздвиженку.

И только прошел мимо пушкинского памятника по Тверскому бульвару, как сзади затарахтели один за другим большие грузовики, нагруженные рабочими с винтовками наперевес.

Грузовики замедлили ход...

А в это время со стороны Никитской показались другие грузовики — с юнкерами.

И они тоже замедлили ход...

И вдруг грянули выстрелы.

Публика, шедшая по бульвару, в панике бросилась врассыпную.

Выстрелы с грузовиков зачастили.

Толпа разбежалась, бульвар опустел.

Я очутился меж двух огней и прижался к каменному дому.

От шальных пуль, попадавших в дом, сыпалась на меня мука штукатурки.

Я был уверен в своем бесславном конце и ждал смерти.

И видел, как с грузовиков белой и красной стороны валились скошенные люди, — тогда их подбирали автомобили «Красного Креста» или просто раненых складывали на платформы подъезжавших грузовиков.

Перестрелка длилась сплошь, и, наконец, со стороны большевиков затрещал пулемет, сразу скосивший передний грузовик с юнкерами.

Рабочие начали двигаться, наступать.

Юнкера отступили к Арбатской площади, где находилось Александровское училище.

Перестрелка стихла.

Я продолжал начатый путь, попал на Большую Никитскую.

По улице, со стороны Кремля, проехал мимо грузовик, переполненный убитыми.

Отовсюду неслась несмолкаемая пальба: ружейная, пулеметная, пушечная.

На углах стояли вооруженные группы в штатских одеждах, и нельзя было понять, за кого они.

Отдельные фигуры, с револьверами в руках, перебегали улицы.

На тротуары сыпались осколки стекол от шальных пуль.

На мостовых валялись шапки.

Холодный ветер гнал по улицам какие-то печатные листки.

Во многих квартирах окна были глухо завешаны.

Ворота заперты.

Через Кисловский переулок я пробрался на Воздвиженку в темноте.

Огни не зажигались.

Стрельба усилилась в районе Газетного переулка и у Никитских ворот.

Вся ночь прошла в громыхающей тревоге, как и следующие дни.

Ждали исхода октябрьского боя.

Дни новой были

С первых же часов, как только стихла генеральная стрельба, московское население высыпало на улицы, разглядывая совершившееся.

За эти дни, «которые потрясли мир», переменилось все: установилась власть Советов.

Теперь на Скобелевской площади уже не было юнкеров у бывшего губернаторского дома — там стояла толпа рабочих с красными знаменами и мощно распевала «Вышли мы все на дорогу».

Громадная филипповская гостиница «Люкс» была занята большевиками.

По улицам спешно проходили отряды вооруженных рабочих, красногвардейцев и солдат.

Тверская превратилась в тракт пролетарской революции, по которому шагали новые люди фабричных окраин.

На фасадах многих зданий и на магазинных вывесках отпечатались ямные следы вчерашних пуль.

А в иных стенах зияли пробоины от снарядов.

Многие стекла в окнах лучились трещинами вокруг пулевых дырок.

В эти исторические дни Москва пережила небывалое потрясенье.

Однако на улицах, и особенно на Тверской, царило возбужденное оживление.

Все походило на грандиозный праздник.

Толпы бросались в места, где расклеивались первые декреты Совета Народных Комиссаров, подписанные председателем Совета В. И. Лениным.

Новая власть действовала с большевистской решительностью.

Что будет?

Это стало всеобщим вопросом.

И как бы в ответ распространились упорные обывательские слухи: большевики останутся у власти «не более двух недель».

А пока что, с первых же часов Советской власти, когда все на улицу высыпали, мы открыли двери «Кафе поэтов», сияющими появились на эстраде и на веселье одним, на огорченье другим приветствовали победу рабочего класса.

То, что «футуристы первые признали Советскую власть», отшатнуло от нас многих.

Эти многие теперь смотрели на нас с нескрываемым ужасом отврата, как на диких безумцев, которым вместе с большевиками осталось жить «не более двух недель».

Со мной, например, некоторые хорошие знакомые перестали даже здороваться, чтобы потом, через напророченные «две недели», не навлечь на себя подозрения в большевизме.

А иные прямо заявляли:

— Сумасшедшие! Что делаете! Да ведь через две недели вас, несчастных, повесят на одной перекладине с большевиками.

Но мы отлично знали, что делали.

И больше: пользуясь широким влиянием на передовую молодежь, мы повели свою юную армию на путь октябрьских завоеваний.

Разумеется, не все пошли за нами, но большинство осталось верным до конца.

Наш октябрьский энтузиазм рос.

Кстати, в «Кафе поэтов» появились новые гости: большевики в кожаных пиджаках, среди которых часто бывали Муралов, Мандельштам, Аросев, Тихомирнов.

Заходили ежевечерне вооруженные винтовками рабочие-красногвардейцы.

Бывало так: читаешь поэму с эстрады и только разойдешься, а в эту минуту входит отряд красногвардейцев.

Начальник отряда постучит об пол винтовкой:

— Оставайтесь на местах. Приготовьте документы.

После быстрой проверки начальник заявляет:

— Продолжайте.

Ну и продолжаешь читать поэму дальше.

А красногвардейцы стоят, слушают.

Мы уходили из кафе поздно, во втором часу, шагали ватагой по мостовой, читали стихи, а в это время по сторонам ночных улиц трещали пулеметы, бухали выстрелы, проносились мимо автомобили, торопливо проходили отряды красногвардейцев, пробегала конница.

Было жутко, ново и весело. «Сарынь на кичку» совершилось.

Мы дышали всеобъемлющей новизной будущего, горели энергией молодости.

Работали всеми моторами сил на полный газ.

В эти дни я выпустил две книги:

«Звучаль веснеянки» — стихи и «Его — моя биография».

В эти дни по всей Москве я расклеил «декрет»:

О заборной литературе,
О росписи улиц,
О балконах с музыкой,
О карнавалах искусств.

Густые кучи народа толпились у моего декрета и с удивлением читали неслыханные предложения мастерам искусства, что отныне:

Требуется устроить
Жизнь-раздольницу,
Солнцевейную, ветрокудрую,
Чтобы на песню походила,
На творческую вольницу,
На песню артельную, мудрую.

Я предлагал мастерам засучив рукава взяться за роспись всех пустых заборов, крыш, фасадов, стен, тротуаров.

Убежден был в том, что любой город и селенье каждое возможно превратить в изумительную картину красочного торжества, чтобы таким способом украсить, возвеселить улицы новой жизни и тем самым приблизить массы к достижениям художественного мастерства, которое до сих пор тихо хоронилось в музеях, как на кладбищах.

А все эти музеи и выставки очень утомительны от чрезмерного скопленья картин, и туда надо ходить специально в известные часы, будто во храм божий, а тут вышел на улицу — и шагай, любуйся во все сочные глаза.

Впрочем, музеи и выставки — сами собой, а улицы, наряженные в роспись, оформленные художественно до учета строгой дисциплины, — совсем иное.

Сюда же, разумеется, должны относиться новшества архитектуры.

Мой декрет обращался к музыкантам:

Музыканты,
Влезайте с инструментами
Играть перед народом на балконы.

Декрет призывал поэтов:

Поэты,
Берите кисти, ну,
И афиши, листы со стихами:
По улицам, с лестницей,
Расклеивайте жизнь — истину.
Будьте перед ней женихами —
Перед возвестницей.

Книги со стихами читают избранные, слово поэтов доходит до массы в жалком количестве, и книгу надо найти, выбрать, заплатить деньги (в библиотеках по одному экземпляру), а тут — на особых уличных щитах постоянно расклеиваются стихи поэтов.

И не в одних стихах суть, но и в коротких рассказах, в статьях, в цитатах из отдельных произведений, в научных сведениях.

Я даже представлял, что на фронтонах домов будут выделаны цитаты из поэтов, как выкованные мысли.

О, непромокаемый энтузиаст, я вообще представлял очень многое в направлении моего декрета.

Мне даже пришлось быть свидетелем частичного осуществления предложений.

На другой же день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.

Что такое?

Оказалось: Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.

Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.

Я пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с «риском для жизни», и крикнул:

— Браво!

Бурлюк мне сердито ответил:

— Не мешайте работать!

Прибитие картин кончилось взрывом аплодисментов толпы по адресу художника.

Тут же к нам подошли люди и сообщили, что сейчас на Пречистенке кто-то вывесил на стенах громадные плакаты с нашими стихами.

Вскоре после этого «события» мы прибавили еще одно: выпустили «Газету футуристов» (редакторы Бурлюк — Каменский — Маяковский), которую расклеили по всем заборам Москвы.

Дела множились.

Отныне наши выступления носили совершенно иной характер.

На рабочих и солдатских митингах, на которых выступали вожди пролетарской революции, мы по окончании читали стихи.

В эти боевые дни развернулся во всю ширь поэта-трибуна Маяковский.

Приходилось выступать со стихами по нескольку раз в день.

Делегации от учащейся молодежи появлялись чуть свет на квартире с просьбами о выступлениях.

С октябрьских дней я стал постоянным выступателем не только в Москве, но и всюду по городам и фабрикам.

Надо было только удивляться, какими способами меня разыскивали: находили всюду и сразу, хотя я и редко бывал дома.

Незаметным образом я перестал принадлежать себе, а понесся в стремительном потоке общей массы, понесся с чистым и радужным, как утренняя роса, просветленным сердцем к прекрасному будущему новой социалистической жизни.

О, я отлично знал (еще по 1905 году), что после се-

годняшнего праздничного потока завтра могут и должны наступить суровые будни стройки социализма, что впереди много преодолений всяческих трудностей, но вера энтузиаста «сильнее смерти», и с этой верой было чудесно жить и работать.

И я отлично знал, что скоро пролетарская революция выдвинет свои творческие силы, что придут новые люди, новые поэты-коммунисты, но это мне не только не мешало, а напротив — с возрастающим нетерпением стало интересно ждать прилива свежих волн рабочего творчества.

С приходом Октября роль футуризма как активного литературного течения кончилась — это было ясно.

Мы сделали свое дело.

Отныне все переиначилось.

Паровоз ленинского напора неотступно двигался к намеченной цели.

Все мы — вкопанные шпалы,
Держим рельсы на груди.

Да здравствует новая жизнь!

На этом кончаю первую часть труда.

Путь энтузиаста продолжается.

ПУТЬ ЭНТУЗИАСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ (В. В. Каменский после Октября).

„Да здравствует новая жизнь!
На этом кончаю первую часть труда.
Путь энтузиаста продолжается».

Этими строками завершается книга, которая впервые вышла в свет в 1931 году, не переиздавалась с тех пор и давным-давно стала библиографической редкостью. Рассказ в ней доведен до первых послеоктябрьских месяцев.

Как жаль, что Василий Васильевич Каменский, этот ярко талантливый и весьма своеобычный советский поэт, очень интересный и разнообразный писатель, редкого жизнелюбия человек, не выполнил своего намерения. Он не продолжил книгу, не пошел дальше первой части.

Можно с уверенностью сказать, что наши представления о первом периоде жизненного и отнюдь не прямого творческого пути Василия Каменского, о литературной жизни предоктябрьских лет, о той группе русских поэтов, которая в момент ее образования называла себя будетлянами и была потом известна под именем футуристов, после прочтения «Пути энтузиаста» стали гораздо богаче, шире, полнокровнее. Сколько же интересного рассказал бы Каменский о новой жизни, которую он так восторженно встретил в первый же день Октября, если бы продолжил рассказ о себе и своем пути! Но он предпочел созданию мемуаров активное писательское участие в утверждении новой жизни.

Многое из того, что Каменский высказывает в своей книге категорически, видится нам теперь в ином, более правильном свете. Это многое в рассказе о временах создания и взлета российского футуризма часто имело своим истоком не остывший еще и не оставленный Каменским запал борьбы с литературными противниками. Это многое шло от уверенности в том, что позиция футуризма непогрешима. Отсюда восторженные преувеличения в оценке значения футуризма для развития русской литературы, в оценке роли теории футуризма, наконец — деятельности отдельных представителей будетлянства. Каменский, скажем, неправомерно высоко ставит первый футуристический литературный сборник «Садок Судей». Иногда в восторге от того, что удалось придумать, он «завихряется» в своих воспоминаниях. Читатель, вероятно, обратил внимание на то, как очень интересно и искренно, но наивно Каменский описывает возможность «одними буквами дать графическую картину слова» и приводит в пример изображение похоронной процессии особым расположением букв в слове «процессия». Такого рода эксперименты и авторское отношение к ним могут вызвать лишь улыбку. Сказать обо всем этом нужно, иметь в виду при общем сужде-

нии о книге необходимо; однако думается, что современный читатель хорошо уловит все то, что есть в книге «сверх», что диктовалось и характером самого автора, всю свою жизнь склонного к гиперболе, к отчаянному оптимизму.

В конце книги Каменский утверждает, что «с приходом Октября роль футуризма как активного литературного течения кончилась — это было ясно. Мы сделали свое дело. Отныне все переиначилось». Слова эти являлись скорее декларацией политических чувств писателя, чем сознательным отказом от старых и утверждением новых литературных позиций. Для Каменского, как и для Маяковского, не возникал вопрос о приятии или неприятии Октябрьской революции. Он вполне мог бы подписаться под известными словами Маяковского из его автобиографии «Я сам»: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция». Что касается литературных позиций Каменского, то он несомненно, и совершенно естественно, стал отходить от многого, что раньше казалось ему непреложной истиной: от утверждений, будто «Поэзия — Праздник Бракосочетания Слов», будто в поэзии важно «самовитое слово вне быта и жизненных польз», и иных утверждений, каких, кстати сказать, не очень-то придерживался в своей поэтической практике и до Октября. Стоит только вспомнить целеустремленность и революционность его «Степана Разина».

Тем не менее, и после Октября Каменский еще продолжал футуристическое экспериментирование. В 1920 году в Тбилиси вышла отдельной книжкой поэма «Цувамма». Позднее, в 1923 году, в первом номере издававшегося Маяковским журнала «ЛЕФ» появилось стихотворение «Жонглер». Оба эти произведения, формально блестяще написанные, были как бы поэтико-музыкальными упражнениями, попытками создать словесно-звуковые произведения на манер произведений музыкальных. По аналогии со словом «музыкант» Каменский придумывает новое слово и называет поэта словокантом, заявляя, что он провидит «грань вселен грядущей генизмы, когда весной в цветах зелен взойдут без слов поэмы». Поэмы без слов, однако, не всходили. Не всходили они и у Каменского. Творчество его становилось все более ясным. Проще и глубже стала выражаться поэтическая мысль. Все решительнее отказывался поэт от многих неверных позиций. Экспериментирование же давало тот положительный результат, что Каменский в лучших своих произведениях упорно и благотворно работал над формой стиха, над словом и его звучанием и добивался большой выразительности, музыкальности, песенности.

Октябрьскую революцию, как писал об этом сам Каменский и

как свидетельствуют о том факты его жизни, он действительно принял восторженно и безоговорочно. С первых дней он активно служит революции и как поэт, и как гражданин. По Москве расклеивается написанный им «Декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой, о карнавалах искусств». Он редактирует в 1918 году с Маяковским и Бурлюком «Газету футуристов». Выступает с Маяковским в Политехническом музее на утреннике революционной поэзии. Вместе с Маяковским, с которым его связывала большая дружба, участвует в «Революционной хрестоматии футуристов» — «Ржаное слово», опубликовав там стихотворение «Стенька Разин — сердце народное» из книги «Звучаль веснеянки». Скажу кстати, что Каменский написал позже интереснейшую книгу воспоминаний «Жизнь с Маяковским» (1940).

Первым из среды писателей Каменский был избран в том же 1918 году в Московский Совет рабочих и солдатских депутатов. «В 1919 году, — писал Каменский в своей «Автобиографии», предпосланной сборнику его стихов «И это есть», вышедшему в Тбилиси в 1927 году, — выступая в качестве культработника в южной Красной Армии, попал к белым и был как «страшный большевик» засажен в белогвардейскую тюрьму в Ялте. После прихода в Крым красных уехал на Кавказ.

А. Микоян в своих воспоминаниях «Встречи с Горьким» («Литературная газета», 27 марта 1968 года) рассказывает:

«Первая моя встреча с Горьким состоялась в декабре 1920 года в Москве, на квартире вдовы Степана Шаумяна... Я в разговоре не участвовал, пока ко мне не обратился Горький с вопросом:

— Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там делается в литературной жизни?

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ответить — мне тогда не приходилось сталкиваться с литераторами. Выручил Лев Шаумян, который рассказал о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он недавно встречался в Тифлисе, где еще господствовали меньшевики. Шаумян говорил, что эти поэты выступают с лекциями, читают свои произведения, настроены просоветски и ведут себя хорошо».

Яркое свидетельство о деятельности Каменского в первые годы Советской власти дал Всеволод Вишневский в письме поэту по случаю отмечавшегося в Москве 25-летия его литературной деятельности.

«Дорогой поэт и боец! — писал он 24 мая 1933 года из Тбилиси. — Я хочу, приветствуя тебя сегодня, вспомнить твое участие в октябрьских днях. Надо было иметь много мужества, чтобы выступить в литературе в ночь на 25-е октября на стороне большевиков.

Ты выступил — схватился вместе с Маяковским со всеми врагами революции, отдав себя и свой талант поднявшемуся народу.

Я, как и мои товарищи в Красной Армии, помню твою работу в 1918, 1919, 1920 и 1921 годах, преследования и опасности, которые ты пересилил. Ты шел с нами. Ты нам помог. Спасибо тебе, товарищ. Прими крепкое рукопожатие».

Вернувшись с Кавказа в Москву, Каменский целиком ушел в литературную деятельность. В начале 1922 года он выпустил, как значилось на обложке, «Мой журнал — Василия Каменского». Перепечатал в нем вышедшую раньше «Цувамму», поместил «анкету» с единственным вопросом «Что увлекает вас сегодня?» и ответы многих крупных деятелей литературы, театра, живописи, культуры. Интересно совпадение по существу ответов самого Каменского и Маяковского. Маяковский сказал коротко и броско: «Увлекаюсь всем. В данную секунду ищу рифму к Фотиевой». Каменский отвечает пространным перечислением: «Революция. Жизнь. Солнце. Любовь. Море. Стихи...» и т. д., и т. д. Иначе говоря, Каменского также увлекает «все». Жадность его к жизни, интерес к жизни, любовь к жизни были необычайны. В этом смысле весьма любопытен и материал из того же журнала, помещенный под названием «Мои учителя». Каменский пишет: «По стихийности — Природа. По свободе — тюрьма 1905 г. По разливности — Кама... По размаху — Стенька Разин... По вообще — Жизнь...» Думается, что эти, как, впрочем, и все остальные утверждения относительно учителей (по охоте, по романтизму, по живописи, по созерцанию и т. д.), дают весьма верную автохарактеристику Каменского как поэта и как человека.

Естественно, что такой человек широко и очень размашисто работает в области литературы. Все больше, все яснее определяется основное направление творчества Каменского: воспевание духа вольности, борьбы за «волю народную», за построение настоящей, счастливой, радостной, «ядренущей» жизни. Уходит в прошлое преклонение перед «словозвонной бесцелью» или, во всяком случае, декларирование этой позиции. Приходит реальное, поэтически пережитое восприятие окружающего мира. И очень хорошо, что на этом пути не были растеряны ни восторженное отношение к жизни, ни яркие краски поэзии Каменского. Недаром книга, которую держит сейчас в руках читатель, называется «Путь энтузиаста».

А. Луначарский в большой газетной статье, посвященной 25-летию литературной деятельности Каменского («Известия», 26 марта 1933 года), именно по поводу этой книги писал:

«Название правильное. Василий Каменский прежде всего энтузиаст. Его талант, его культурное значение, его личное обаяние сводятся прежде всего к тому, что он энтузиаст, что он вечно и пре-

красно взволнован: живописно, эмоционально, музыкально взволнован, вечно вибрирует и со стихийной силой стремится заставить всех окружающих вибрировать в унисон с собой.

Этот жизненный энтузиазм и это стремление заразить им составляют большую долю каждого жизнерадостного, оптимистического поэта. В силу своего энтузиазма и Василий Каменский стал жизнерадостным, оптимистическим поэтом. Для своих напряженных, веселых и буйных эмоций, для своей радости жизни Каменский сумел найти оригинальную, глубоко личную внешнюю форму».

Нельзя не согласиться с этим изящным, остроумным и очень точным определением существа поэтического характера Каменского. Ведь и в самом деле во всем, что он писал до своего юбилея и в последующие годы, он — энтузиаст советской жизни, энтузиаст творчества на пользу строительства нового общества, взволнованный, неугомонный, постоянно стремящийся вперед, жизнерадостный и бодрый, увлекающий этой своей жизнерадостностью и бодростью читателя и слушателя. Да, да, слушателя, потому что Каменский был одним из создателей русского слухового стиха, который рассчитан не только, а иногда, может быть, и не столько на то, что кто-то будет читать его про себя, а на то, что он будет произноситься громко, вслух, будет обращен к аудитории.

Это свойство поэтического таланта Каменского мне довелось радостно испытывать на себе в течение многих лет знакомства с ним. Редко кто из поэтов да, пожалуй, и профессиональных чтецов так блестяще, с таким задором, с такой выразительностью читал стихи, как читал свои Василий Васильевич. Манера чтения, при которой он легко и свободно переходил от пафоса ораторской речи почти к пению, а иногда и просто пению на собственные свои мотивы, его неподражаемо-индивидуальные интонации и великолепный по тембру голос завораживали слушателя.

Человек он был ярко музыкальный, и А. Луначарский очень точно писал о нем:

«Василий Каменский — поэт из породы мейстерзингеров, на манер французских недавних шансонье. Это — полудраматический, полумузыкальный исполнитель своих собственных «песен». Поэты часто говорят о своих «песнях», но иногда это бывает совсем облыжно, ибо их мнимых песен не только они сами не поют, но и никто петь не может. Стихи же Каменского — подлинные песни, им даже не очень нужно, чтобы кто-нибудь написал для них аккомпанемент или определил их мелодию. Сам автор уже создает их почти как композитор».

Очень хорошо помнится сочиненный и великолепно исполнявшийся Каменским на простой русской гармошке «Мексиканский

марш», который начинался с необычайно бодрого, на высокой ноте выкрика «А хавэнта, ва!..» Это была искрометная, жизнерадостная, как сам Каменский, удивительно четкая ритмически и содержательная, легкая в самом добром значении этого слова музыка. Летами, начиная с 1912 года, Каменский жил на хуторе Каменка, в 40 километрах от Перми по Насадскому тракту, а позже — в селе Троица, тоже Пермской области. Играл он так, что его очень часто приглашали с гармошкой на деревенские вечерки и свадьбы, и он неизменно пользовался там огромным успехом.

Все это накладывало свой отпечаток на поэзию.

Надо сказать, что в двадцатых годах Каменский обращался, как и прежде, к разным литературным жанрам. Начиная со «Стеньки Разина», первой советской историко-революционной пьесы, которая шла в ряде театров страны, в том числе — в третью годовщину Октября — и в Перми, Каменский энергично занимался драматургией. Он написал много пьес, среди которых, заметим кстати, и первая в советской драматургии «производственная» пьеса «Паровозная обедня». Некоторые пьесы шли в театрах Петрограда, Москвы и других городов страны («Здесь славят разум», «Золотая банда», «Роковая наездница», «Пушкин и Дантес», «Скандальный мертвец», «Паровозная обедня»), но еще большее количество их не увидало сценического воплощения. Как верно в общем замечает Н. Л. Степанов во вводной статье к книге «Василий Каменский. Стихотворения и поэмы» (в серии «Библиотека поэта», «Сов. писатель», М. — Л., 1966), «свои пьесы Каменский писал наспех, без должного внимания к их художественному качеству... Критика справедливо упрекала эти пьесы в примитивности, поверхностности. Не случайно они очень недолго продержались на сцене и после нескольких спектаклей были забыты...»

Такие обвинения в спешке, порою в недостаточно критическом отношении, а то и нетребовательности к своему творчеству можно предъявить Каменскому и касательно некоторых поэтических произведений поздних лет. Иные стихи его действительно грешат чрезмерной декларативностью, художественной малоубедительностью. Однако к тому многому, что сделало Каменского большим поэтом, это обвинение отнести, конечно, нельзя.

Главным из того, что создано Каменским, являются несомненно его исторические поэмы «Степан Разин», «Емельян Пугачев», «Иван Болотников». Любопытно отметить при этом, что появлялись они в результате поисков не только поэтической формы, но даже и жанра. «Степан Разин» первоначально написан был как роман («Стенька Разин», 1916), затем появилась первая редакция поэмы («Сердце Народное — Стенька Разин», 1918), затем пьеса («Стенька

Разин», 1919) и — окончательная редакция поэмы («Степан Разин», 1929). Нечто подобное происходило и с «Емельяном Пугачевым». В 1925 году появилась пьеса «Емельян Пугачев», а позже, в 1931 году, — поэма, один из шедевров Каменского.

Поэтической славой своей в первые годы Октября Каменский обязан был главным образом поэме о Степане Разине. Отмечая, что у Каменского «самая ценная служба была именно поэтическая служба», А. Луначарский в юбилейной статье писал, что поэта «сразу и сильно полюбили. Он стал известен и Владимиру Ильичу, которому его поэзия нравилась, хотя, как известно, вообще к «гражданам будетлянам» Ленин относился критически, и даже у самого Маяковского ему нравилось немногое».

Дальше А. Луначарский дает очень любопытное свидетельство об отношении В. И. Ленина к Каменскому: «Как-то раз Василий Васильевич шел по лестнице в какой-то театр, где он должен был выступить со стихами. Оказывается, что там должен был выступить и Ильич. Оба встретились на лестнице. Владимир Ильич ласково глянул на поэта и сказал: «Здравствуйте, середнячок». Сказал и прошел мимо... А поэт остолбенел. Он стоял с выкатившимися глазами и беззвучно шевелил языком во рту: «Середнячок»? За что же он меня эдак-то?»

Весь вечер Каменский был не в духе. Но ему повезло. При разборе шапок опять встретился с вождем и бросился к нему: «Владимир Ильич, как же это вы? За что же это вы? Что же я за середняк? Разве я застрял между меньшевиками и большевиками? Или вы думаете — я болтаюсь между революционерами и обывателями? Я — человек твердых убеждений, я советский человек, я — бунтарь, я подлинный левый. Мне хочется, чтобы вы никогда не сомневались в этом». Теперь уж Ильич смотрел на поэта удивленными глазами. Наконец он понял и захохотал: «Так разве ж я про ваши убеждения? Это мне товарищ Свердлов сказал, что у вас хозяйство середняцкое на Урале». Каменский хлопнул себя по лбу: «Вот оно что. А мне невдомек. Никто меня не называл так». И разошлись, крепко пожав друг другу руки».

В поэмах о Разине, Пугачеве и Болотникове в наибольшей степени раскрывается поэтический талант Каменского зрелого периода его творчества, его мастерство, особенности его стиля. Все эти поэмы разрабатывают тему крестьянского восстания и являются как бы произведениями эпическими, между тем в них, как почти во всем своем творчестве, Каменский глубоко лиричен. Нет здесь подробных, исторически безусловно достоверных характеров. Автору важнее было передать колорит конкретной исторической эпохи, общий дух времени, притом в своем собственном понимании. Главное —

поэтическое вдохновение автора, который вкладывает в уста героев и их поступки свои эмоции, свои ощущения эпохи, свои представления о духе и характере народных бунтарей.

Каменский до конца жизни сохранил способность сливаться со стихией — со стихией природы, со стихией «гульливой бродячей крестьянской Руси» (А. Луначарский) — и почти анархически бунтовать против всего, что становится поперек народной воле. Именно поэтому с большой силой выражены в поэмах великий размах и неуемная разливная стихийность крестьянских войн.

Особенно ощущается это в поэме «Степан Разин». С самых первых строк читателя охватывает атмосфера напряженных, то глухих, подспудных, то звонких, но всегда четких боевых ритмов:

Ночь — темна.
Кровь — хмельна.
Жизнь — вольна,
Да неволит на Волге
Волна:
Эй, сермяжники,
Беритесь за привычку—
Дорогих гостей встречать.
Эй, гуляй —
Сарынь на кичку!
Наворачивай с плеча.
Драли,
Жали
Бары
Долго
Крепостную голытьбу.
А теперь —
Бунтует Волга
За сермяжную судьбу.

А наряду с такими строками, наряду с ушкуйничьими выкриками:

Выравнивай.
Держись
За жизнь.
Хха-вва!
Чох — на ветер.
Вражью кожу — на шест.
Мясо — собакам.
Кости — в ров.
Степан Тимофеич,
Будь здоров! —

разливно звучат лирические строки песни принцессы Мейран о любви или атамановой песни:

Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.
И в этом саду
Я — туман.

Хмельной
Да мудреный,
Ядреный,
Осиновый,
Сам не свой,
И зову:
Эй, Мейран,
Чуду приспело
Родиться недолго —
Струги легки
И быстры,
Со славой-победой
Увезу я на Волгу
Зажигать удалые
Костры.

Каменский отлично зажигает в поэзии «удалые костры», рисует образ Стеньки Разина не столь исторического, сколь легендарного, схожего с образом из народной песни, зовет своего читателя: «Станем помнить Солнце-Стеньку: Мы — от кости Стеньки кость. И, пока горяч, кистень куй, Чтоб звенела молодость».

Пугачев у Каменского более историчен, чем Степан Разин, но и он, при всей драматической насыщенности поэмы «Емельян Пугачев» и ее эпическом складе, в большой степени выражает стихийность эмоций самого поэта, его индивидуальность, его восприятие народного героя. Вот как передается дух буйной народной вольницы в «Емельяне Пугачеве»:

Эх, широки дворянские окрестности.
Идет мужицкая гроза.
Нам довольно крест нести.
Жги.
Бунтуйся.
Бей.
Кромсай.
Эй, люд!
Бабы!
Дети!
Крепостные!
Деревенские!
Лесные!
Весь обиженный народ,
Собирайся в злой поход!
Шуми!
Галди!
Надо в матушку-Расеюшку
Насовать нам пугачей,
Чтоб крестьянскую затеюшку
Разуважить пошибчей!

В уста Пугачева вкладывается такая, по сути дела программная, «речь», причем произносит он ее, вернее — выкрикивает, на собственной своей свадьбе:

— Грей коня!
Бардадым!
По земле — огонь да дым.
А нам
Жарко на огне
Свадьбу
Править на коне.
Пир — сегодня,
Завтра — кровь.
Катька-сводня
Хмурит бровь:
Разбунтовались
Казаки,
Рудокопы,
Мужики.
Катька,
Глядь-ко:
Пареньё —
Стало
Черным
Вороньё.
Над престолом
Каркают, —
Заклюют вориху.
Ох, господи,
Благослови цариху
Дубиной по лбу!

Диапазон поэтических интересов Каменского в «Пугачеве» удивительно широк. Поэма исключительно народна по содержанию. Она, как и «Степан Разин», полна напряженных боевых ритмов. И она очень песенна по форме, интонации во многих местах близки к народным, она преисполнена ярких, сочных образов. В поэме развертываются поражающие живописностью картины жизни крепостной голытьбы. Она тонко передает стихию народного, притом часто уральского, говора, крепко связана с Уралом, всегда, как и Кама, близким автору.

Третья поэма из цикла исторических — «Иван Болотников». И здесь поэта привлекает стихия крестьянского восстания. Как известно, Болотников был выдающимся вождем крестьянской войны начала XVII века, охватившей огромную территорию Руси и в 1606—1607 годах потрясавшей всю страну. Поэма, посвященная этому восстанию, этой войне и ее главному герою, несколько отличается от предыдущих двух, так как в ней Каменский уделяет очень много внимания чрезвычайно пестрой жизни Болотникова, бросавшей его не только по родной стране, но и по странам Азии и Европы. Болотников резко противопоставлен «шубному купцу» царю Василию Шуйскому.

И здесь герой поэмы — народный герой с легендарными чертами, о котором «орут»:

Пригнал
Иван Исаич
Солнце на груди.
Ишь, какой
Осанистый,
Строен да высок,
В пояс ему
Все кусты,
В уровень лесок.
Волосы
Златее льна,
Кудри —
Ветер лих.
Грудь
Сырой землей сильна,
Восходом
Светит лик.
Ишь, какой
Детинушка —
Крестьянская краса.

Болотников гибнет, как Разин, как Пугачев. Это, однако, не сказывается на общем характере поэмы. В ней воспевается беззаветное, радостное чувство борьбы за народную волю. И хотя «Болотников» кончается печальными строками о том, что «Ночь, как Русь, в диком сне, Горе тягостных лет Заметала опричнины след», все равно «Перелетным огнем Слава ходит о нем, Об Иване Исаиче, По Руси Солнцевсходом блистаючи».

Каменскому по сердцу эти народные богатыри. Позднее он увлекся еще одним героем, на этот раз не вождем народной вольницы, а «покорителем Сибири» Ермаком. Его привлекла фигура человека, сильного телом и духом, человека, о котором дружина в поэме говорит: «Наш Ермак удалой, С золотой головой. Он не молод, не стар, Воевать не устал», — человека, воспетого народными преданиями и песнями.

Уже в первых поэмах, в их построении чувствовался драматургический элемент. В «Емельяне Пугачеве», например, почти целая глава — «Свадьба» — даже формально написана как драматургическое произведение. Позже, во время Великой Отечественной войны, Каменский написал для композитора М. Коваля либретто оперы «Емельян Пугачев». Опера эта, кстати сказать, была впервые поставлена в 1942 году в Перми Ленинградским театром имени Кирова, находившимся тогда здесь в эвакуации. «Ермак», из которого до сих пор опубликовано лишь несколько отрывков, сразу был написан как драматическая поэма. В этом интересном произведении во многом, к сожалению, чувствуется незавершенность.

Здесь, мне думается, стоит несколько вернуться к фактам биографии Каменского. В «Пути энтузиаста» рассказывается о том, как родился хутор Каменка, недалеко от Перми. Многие годы Камен-

ский проводил здесь весну и лето, пока в 1931 году не передал свой хутор и хозяйство колхозу. Взамен этого он получил дом в селе Троице нынешнего Пермского района Пермской области, на высоком живописном берегу реки Сылвы, где жил до 1951 года. Здесь, как и на Каменке, Каменский много охотился, занимался «рыбатством», как любил говорить он сам о рыбной ловле. И здесь был его «дом творчества», здесь им было создано очень много произведений.

Еще в самый начальный период творчества, о чем в «Пути энтузиаста» говорится вскользь, Каменский писал очень тонкие лирические стихи, пронизанные глубокой любовью к родной уральской природе и мыслью о том, что

Жить чудесно! Подумай:
утром рано с песнями
тебя разбудят птицы —
о, не жалей недовиденного сна —
и вытащат взглянуть
на розовое солнечное утро...
Радуйся! — оно для тебя...

Или:

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
встань рано-рано
(хоть раз да встань),
когда тумана
седая ткань
редеет и розовеет
Тогда ты встань
и, не умывшись,
иди умыться
на росстань...

Или:

Звенит и смеется,
солнится, весело льется
дикий лесной журчеек —
своевольный мальчишка —
Чурлю-Журль.
Да, — Чурлю-Журль.
Звенит и смеется,
и эхо живое несется
глубоко в зеленой тиши
корнистой глуши:
Чурлю-Журль...
Чурлю-Журль...

Это были стихи, которые стали позже составной частью первой книги Каменского «Землянка» — книги о природе, о радости слияния человека с ней. В этой большой лирической повести речь идет о том, почему городской человек уходит в деревню. Город в «Землянке» — «огромное, серое, каменное, пыльное царство тоскующих людей»; в городе героя постигает довольно шаблонная и довольно

шаблонно, в несколько декадентском духе описанная любовная неудача. А вот в той части повести, которая посвящена деревне, земле, откровенно говорится о непосредственном, жизнерадостном восприятии великолепий природы, и говорится чудесным, сочным, лиричным языком. Этой своей частью «Землянка» и сейчас привлекает читателя.

Писал Каменский прозу и позже. Прочно привязанный к природе, к лесу, к Каме, которую любил с детства, хорошо знавший деревню, он написал в 1927 году книгу «Лето на Каменке». В ней и в ряде рассказов и очерков о деревенской жизни, печатавшихся в пермской газете «Звезда», во многих других газетах и журналах, Каменский обнаруживал точное видение современной советской действительности и не только передавал свои наблюдения, но и говорил о серьезных проблемах, возникавших в деревне. «Лето на Каменке», в частности, — одновременно и книга рассказов, и книга очерков. Это книга об охоте и встречах с любопытнейшими людьми, о природе и о новых отношениях между крестьянами, какие складывались в середине двадцатых годов в уральской, прикамской деревне. Это и наблюдения над тем, как новое, советское входило в личную и общественную жизнь крестьянина.

В середине тех же двадцатых годов, когда вышло в свет «Лето на Каменке», Каменский очень много разъезжал по стране с чтением своих стихов. Он был и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, а позже — и на Печоре. «Вообще меня нестерпимо влечет путешествовать, — признавался он в «Автобиографии». — Но особенно тянет в Индию, в Австралию, на Камчатку и даже на Луну: когда пустят туда первый снаряд-ракету, я попрошусь в качестве первого корреспондента от Земли». Широта натуры, жизнерадостность и беспокойная душа Каменского сказались в несомненно искреннем заявлении, сделанном еще в 1927 году. Неугомонность его сказалась и в том, что в 1934 году он стал директором Центрального театра водного транспорта, написал для него пьесу «Счастливый лоцман», усиленно добивался создания специального плавучего театра.

При всех этих своих качествах Каменский почти не терпел какой бы то ни было неопределенности. Он конкретен, ясен в своем поэтическом мышлении. Это сказывается, например, в таком любопытном факте: у Каменского нет ни одного опубликованного произведения, которое было бы «озаглавлено» тремя звездочками. В 1944 году в Перми в связи с 60-летием поэта было затеяно издание небольшого (время трудное, военное!) сборника избранных произведений. Считая, что сборник нужно сделать «очень разнообразным», и предлагая включить отрывки из ряда больших вещей,

он писал мне как составителю сборника, что надо «все отрывки взять под особые заглавия (из текста) и разместить как угодно... Но все стихи и отрывки должны иметь имена, как люди».

Двадцатые и тридцатые годы были для Каменского самыми плодотворными. В это время, помимо исторических поэм, он написал много стихов. И на первый план, конечно, следует поставить стихи о родном ему крае, о вечной его привязанности — Урале и Каме, а также стихи-размышления о жизни.

Урал и Кама — не местническая, не областническая привязанность. Они в его стихах — символы родной Советской Страны. Программной является «Поэма о Каме», написанная в начале тридцатых годов. В этой поэме, проникнутой любовью к родному краю, к родной природе, поэт признается:

Еще в далеком детстве
Полюбил я Каму,
Полюбил крутые лесные берега.
И с тех пор в лугах приветствий
Мой привет —
Тебе, красавица река.
Не знаю, сколько лет
На свете мне прожить дано,
Но не забуду я одно —
Давно хочу признаться в этом —
Кама, Кама, Камушка,
Не знаю, право, сам уж как,
Сделала меня поэтом.

И дальше, говоря о том, что его «луженую забористую глотку хранит бывалая в боях словесных медь», он пишет, что

...не затихли песни ярости,
Рожденные на Каме,
Не будет, знаю, старости
На лодках с рыбаками.
Костер, как меч,
Огнист, остер,
Костром я жизнь простер,
И мой огонь, и мой шатер,
Мой мир и мой простор.

В несколько прокламативной и декларативной поэме «Урал» он опять признается:

Люблю Урал
За эту мощь крутую,
За металлическую быль
Еловых гор,
За кровь камней,
За жилу золотую,
За смолевой сосновый бор,

За лес густой,
Отчаянно медвежий,
Где дичь и звери,
И охотник-леший...

В написанной раньше автобиографической «Каменке» Каменский радуется, что он является «Поэтом, Рыбаком, Охотником И гражданином СССР». Много ярких страниц, посвященных Уралу и Каме, в большом романе в стихах «Могущество». Удивительно оптимистичен «Охотничий марш», заканчивающийся бодрым и деятельным утверждением: «Неутомимо Жизнь возьмем живьем с ружьем!» Перечислить все написанное Каменским (в том числе и достаточно крупные вещи) очень трудно, но хочется упомянуть еще несколько, можно бы сказать, лирико-созерцательных поэм.

Во «Встрече с Миром» о новой, советской жизни говорится:

И Мир зашагал.
Двинул громадой
К заре, чтобы солнце
Для нас подымать.
Я только крикнул:
Работаем, значит!
И дал ему выстрел
Салютный вослед.
Пусть он запомнит,
Что путь этот начат
На многие
Тысячи лет.

В поэме «Зажигатель планет», имеющей подзаголовок «Мысли о своей старости», в «Осени червонной», а еще раньше в «Гимне 40-летним юношам» Каменский утверждает вечную молодость поэта — «зажигателя планет», человека, несущего «охапку восторгов», человека, которому «молодость дана была недаром».

Эта молодость, буйство чувств, любовь к советской жизни необычайно захватывают читателя. Недаром А. М. Горький в письме к Каменскому от 15 мая 1926 года называет его «своеобразнейшим писателем», а позже, в письме от 11 мая 1929 года, говорит: «Хвалить Вас — не буду, мы с Вами — старые писатели и в похвалах уже не нуждаемся, к тому же Вы хорошо знаете себя как литератора оригинальнейшего, человека со «своим лицом».

Молодость чувств помогла Каменскому мужественно переносить обрушившееся на него несчастье — тяжелую болезнь. Но вот что писал он мне в марте 1944 года из тбилисской больницы, где пролежал уже к тому времени несколько месяцев: «Коренной сын Урала и Камы, я всегда в творчестве стремился к утверждению нашей новой жизни, оправленной в золото любви к родному краю, к великой родине. И всегда был энтузиастом-патриотом, искренним жизнерадостным поэтом СССР и таким останусь до конца».

И через несколько дней: «Что же поделаешь? Терплю. Молчу. А высота духа, мечты, молодые надежды энтузиаста, сердце поэта, взоры жителя Камы и Сылвы — все это дивное состояние внутренних сил опережает грустную действительность больного, и потому мне трудно реально переживать свою болезнь, да еще с осложнениями. Изнурительно. И все же силы духа спасают. Дело теперь только во времени».

Время, однако, было против Каменского. Несмотря на это 8 мая 1944 года он снова писал: «Но дух поэта Камы и Урала крепок, и сломить злому недугу волю мою к жизни — сложное дело... Не унываю, не ропщу, не злюсь. А уж как есть, так оно и есть». И дальше, развивая мысли о дружбе и творчестве, о «родном искусстве русской поэзии, чья сила в жизни — алмазная струя отрады», он продолжал: «Без поэзии нет души в человеке, нет утешения и святого тепла. Я счастлив тем, что отдал жизнь поэзии для народа. И сам на седьмом небе от удовольствия. Правда, нелегко быть большим певцом, чтобы слышали все гимн духа, но зато, когда становишься как живописная гора, бывает приятно жить и творить. И сознавать свою пользу. Конечно, очень досадно, что жуткая болезнь... много причинила мне горя, но все же остался я верным поэтом радостей жизни. И таким пребуду. Мое дело — приносить людям счастье. И я это делаю — ободряю, окрыляю, веселю, помогаю жить песней. Почему я это пишу? Ты вот устал, и я тебе, как птица, пою. Вот и все. Отдохни душой. Посмотри на Каму за меня. Сделай это — мне будет легче. И тебе будет легче. Кама возвращает к юности. Почаще ходи и смотри. Поможет. Особенно дивно смотреть на Каму в белые ночи и слушать кругом тишину... Это время у нас, на Каме, самое замечательное и нельзя его пропускать».

Так писал Каменский в очень трудное для него время. А затем положение еще ухудшилось, и последние тринадцать лет жизни Каменский после тяжелого паралича был совсем прикован к постели. Однако он продолжал трудиться. Ведь даже тяжело больной, он не оставил работу. Как уже упоминалось, написал либретто оперы «Емельян Пугачев» и часто встречался с композитором. Написал поэму «Партизаны» — о партизанских подвигах. Создал ряд стихов для газет и радио. Написал «Ермака Тимофеевича». А когда прекратилась творческая жизнь, он и тут не сдавался. Выручало неистовое, потрясающее жизнелюбие. Он много рисовал, слушал радио, смотрел почти все телевизионные передачи.

11 ноября 1961 года Каменский умер в Москве, где жил последние годы. Урна с его прахом замурована в стене Ново-Девичьего кладбища.

Жизнь поэта не кончается с его смертью. Лучшие творения Каменского продолжают жить и теперь. И то, о чем говорилось в этом послесловии, и многое, не упоминавшееся вовсе, составляет обширное и интересное литературное наследство Каменского. Это был поэт оригинальнейший, со своим голосом, упорно и успешно прокладывавший свои пути в творчестве. Он многое сделал в русской поэзии в области формы и работы над языком, над словом. Слово его, как правило, звучное, ясное, блестящее, сверкающее многогранностью.

Это был яркий, своеобразнейший поэт нашей революции, до конца своей жизни оставшийся энтузиастом.

С. Гинц

Оглавление

Василий
Васильевич
КАМЕНСКИЙ

ПУТЬ ЭНТУЗИАСТА

Редактор С. М. Гинц. Редактор послесловия А. Г. Зебзеева. Художественный редактор В. В. Вагин. Технический редактор Т. В. Дольская. Корректоры Л. К. Пономарева, Е. П. Божанова

Сдано в набор 18/IX-68 г. Подписано в печать 14/XI-68 г. Формат бум. тип. № 2 70×108 1/32. Бум. л. 3,75. Печ. л. 7,5 (усл.-прив. 10,5). Уч.-изд. 10,684 л.+ +0,666 вкл. ЛБ01066. Тираж 10 000 экз.
Цена 55 коп.

Пермское книжное издательство.
Пермь, К. Маркса, 30.
Книжная типография № 2 управления по печати. Пермь, Коммунистическая, 57. Зак. 1337.